





П.А. Федотовъ. *Вдова умика* (малък)
Руский Музей Александра III.

P. Fedotoff, *La jeune veuve* (small)
Musée Russe Alexandre III.

П. А. ФЕДОТОВЪ

Всеволодъ Дмитриевъ

Наша задача



ЕЧАЛЬНАЯ линія судьбы Федотова протянулась далеко въ будущее... до нашихъ дней. Менѣ всего мы думаемъ сейчасъ о новыхъ триумфальныхъ аркахъ для этого мастера, наоборотъ — удастся ли сохранить всѣ его старые, узаконенные временемъ, лавры? Когда теперь вглядываешься въ созданія Федотова, то силишься подавить настойчивую тревогу: да кто же этотъ художникъ, не ошибка ли исторіи, не реликвія ли, которую мы чтимъ по привычкѣ и подражая отдамъ?.. Насъ упорно и надоѣливо уговаривали цѣнить Федотова за его историческую роль „предтечи“. Намъ твердили, что именно здѣсь — вѣчная заслуга Федотова передъ роднымъ искусствомъ. Но тогда пусть намъ укажутъ хотя бы у Крамского, или у Перова, или у Рѣпина — въ этихъ начальственіяхъ и заключеніяхъ „передвижничества“ — явственный отзвукъ федотовскихъ достижений, опредѣленный слѣдъ того, что федотовское вдохновеніе было вѣщимъ для данныхъ новыхъ дарованій. Кроме того, сейчасъ невозможно вѣрить, что Федотовъ открылъ глаза и обществу и художникамъ на невѣдомую до того область — современную жизнь. Однако, — возразить миѣ, — почему же общественный восторгъ вызвалъ не Тропининъ и не Венеціановъ, а Федотовъ? Это вполнѣ объяснимо. Въ отечественный, уже существовавшій, жанръ Федотовъ первый ввелъ анекдотъ, если, впрочемъ, не считать Брюллова съ его *tableaux de genre*, вродѣ „Сна бабушки и внучки“, которая несомнѣнно также чрезвычайно нравились публикѣ (но только, какъ взятыя не изъ жизни нашего средняго сословія, онѣ не могли такъ обрадовать всю массу русскихъ зрителей, какъ обрадовали ее „Утро чиновника“ и „Сватовство маюра“). Однако я думаю — всякий согласится, что успѣхъ мастера у современниковъ отнюдь не безусловное доказательство его художественной цѣнности и исторической значительности, тѣмъ болѣе, что въ данномъ случаѣ успѣхъ былъ вызванъ „анекдотизмомъ“ федотовскихъ картинъ, т. е. стороной хотя не наиболѣе дурной, но для современного намъ вкуса — наименѣе важной. Итакъ, если общераспространенный миѣнія объ историческомъ значенії Федотова къ сегодняшнему дню совершенно вывѣтились, стали пустымъ мѣстомъ, то чѣмъ мы ихъ замѣнимъ? До сихъ поръ какъ разъ эти сужденія были непреложны, а толкованія федотовского мастерства, оцѣнка его художественного облика безпрестанно мѣнялись, какъ частность, какъ иѣчто второстепенное. Но теперь... Теперь,

повторяю, помимо нашей воли возникает тревожный вопросъ: а самъ Федотовъ, какъ и за что мы цѣнимъ сейчасъ этого мастера? Посильный отвѣтъ и является нашей задачей.

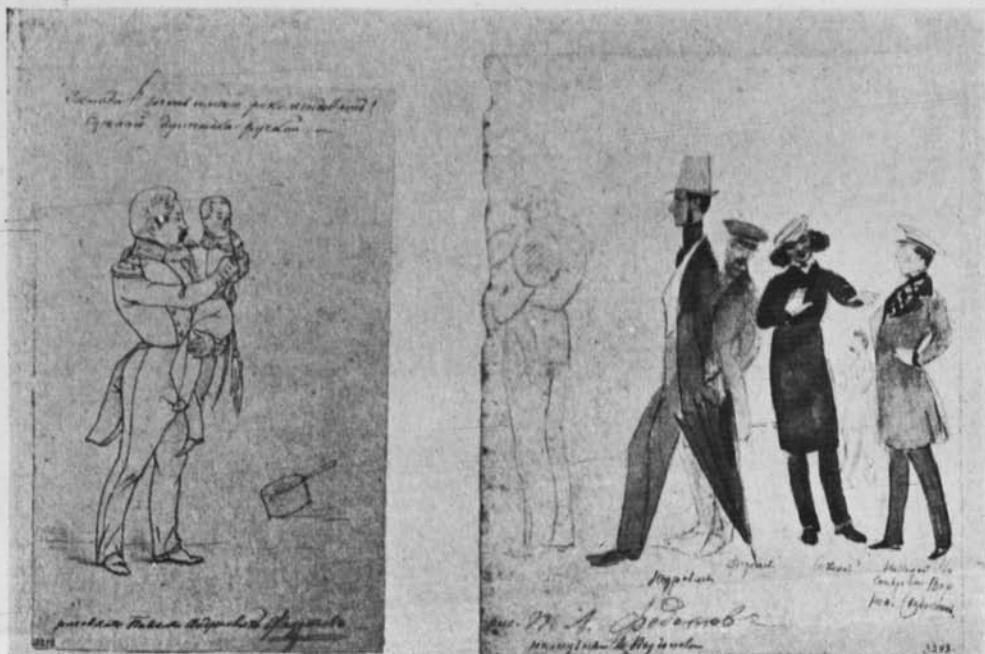
Исторія оцѣнокъ Федотова

Подтверждимъ теперь исторической справкой справедливость нашихъ словъ, что затверженныя нами толкованія значенія Федотова на самомъ дѣлѣ совершенно вывѣтились и не выдерживаютъ критики. Мы ограничимъ справку разборомъ трудовъ наиболѣе существенныхъ, т. е. способствовавшихъ построенію исторической схемы или ее видоизмѣнившихъ. Первой попыткой утвержденія Федотова являются „Воспоминанія“ А. В. Дружинина, вышедшия изъ печати на слѣдующій же годъ послѣ смерти художника. Названный авторъ не игралъ какой либо замѣтной роли въ жизни русскаго искусства, не бытъ онъ также и теоретикомъ искусства и не искалъ историческихъ обоснованій своимъ мнѣніямъ,— потому мы къ его голосу прислушаемся, какъ къ голосу profanum vulgus, того ,народа непосвященнаго“, который своимъ безхитростнымъ восторгомъ далъ первое утвержденіе федотовскимъ опытамъ. Дружининъ, во первыхъ, очень рѣзко отличаетъ уже созданное художникомъ отъ того, что онъ могъ бы дать въ будущемъ: „Судьбѣ угодно было прекратить существованіе художника на самой первой ступени заслугъ и извѣстности; только ближайшіе изъ друзей Павла Андреевича могутъ сказать о томъ, какъ слабы, ничтожны были его превосходные начатки передъ тѣми неистощимыми сокровищами, которыя зреали въ умѣ его“. Во вторыхъ, обращаясь къ этому будущему, авторъ категорически утверждаетъ: „Только они (т. е. ближайшіе друзья) сознавали съ ясностью, что будущіе труды нашего соотечественника, можетъ быть, превзойдутъ труды сэра Давида Вильки и самого Гогарта“. Такимъ образомъ, будущее художника, по словамъ одного изъ ближайшихъ его друзей, памѣталось съ полной ясностью: онъ долженъ бытъ превзойти ,самого Гогарта“. Запомнимъ эту оцѣнку Федотова современникомъ и перейдемъ къ слѣдующей. Вторымъ важнымъ утвердителемъ заслугъ Федотова бытъ А. И. Сомовъ, и этотъ же авторъ далъ первую попытку теоретического обоснованія значенія мастера въ русской живописи. За четвертьвѣковой промежутокъ, отдѣляющій „Воспоминанія“ Дружинина отъ монографіи Сомова (1878 г.), точка зрѣнія на смыслъ поступательнаго движения нашего искусства рѣшительно перемѣнилась. Если современникамъ Федотова казалось цѣлью громадной и драгоценной — преодѣлѣть Гогарта въ русскіе мундиры и зипуны, то теперь, черезъ 25 лѣтъ, такая цѣль значительно потускнѣла. Федотовъ воспринимается уже съ точки зрѣнія ,post hoc“, черезъ плеяду, многочисленную и все продолжающую расти, передвижниковъ. Бросалась въ глаза однородность общественнаго восторга передъ работами Федотова и передъ созданіями Перова



П. А. Федотовъ. Портретъ П. Е. Львова (свинцовый карандашъ). (Музей Имп. Александра III).

P. Fédotow. Portrait de P. Lvov (mine de plomb). (Musée Alexandre III).



П. А. Федотовъ. Подкрашенные рисунки.
(Музей Имп. Александра III).

P. Fédotow. Dessins rehaussés.
(Musée Alexandre III).

или В. Маковского, а также однородность или почти однородность темъ и здѣсь и тамъ; отсюда напрашивается выводъ, который и сдѣлалъ, не колеблясь, Сомовъ: „Авторъ картинъ „Сватовство маіора“, „Свѣжій кавалеръ“ и пр., колонновожатый той фаланги русскихъ живописцевъ, которая трудится въ наши дни надъ разработкой реальныхъ, национальныхъ, глубоко—осмысленныхъ сюжетовъ“. Однако, Сомовъ, какъ тонкій наблюдатель, не могъ не видѣть и даже самъ намъ указать, что „Федотовъ не имѣлъ ни учениковъ, ни непосредственныхъ послѣдователей“, по все же онъ долженъ былъ связать Федотова съ передвижниками, т. к. иначе Федотову грозила опасность очутиться въ исторіи русского искусства въ странномъ одиночествѣ. Не быть среди „академистовъ“—это значило быть въ лагерѣ передвижниковъ; иного положенія, виѣ этихъ двухъ лагерей, тогдашняя художественная мысль не представляла, а такъ какъ хронологически Федотовъ опредѣлилъ передвижничество на десятокъ лѣтъ, то, слѣдовательно, онъ ихъ „колонновожатый“, который „открылъ новую, никѣмъ до него нетронутую жилу национальности и сатиры. Безъ Федотова еще долго, быть можетъ, не гордилась бы наша художественная школа такими произведеніями, каковы труды Перова, Прянишникова, Трутовскаго, Чернышева, Журавleva, В. Маковского и многихъ другихъ жанристовъ“.¹

Итакъ, гипотеза была построена, построена весьма логично и, конечно, была съ радостью принята „передвижничествомъ“, какъ и выгодная, и лестная. Дѣйствительно, передвижникамъ хотѣлось хоть какой либо родословной. Они не могли сослаться ни на Иванова, который былъ для нихъ слишкомъ мудръ и сложенъ, ни на Брюллова—для нихъ слишкомъ блестящаго и параднаго, ни на Венеціанова, слишкомъ безхитростнаго и въ тѣ времена безславнаго, между тѣмъ какъ Федотовъ явился знаменемъ очень удобнымъ. Онъ прикрыль своей тѣнью слишкомъ обнаженное западное происхожденіе и идеи и „руки“ передвижниковъ. Однако, именно потому, что Федотовъ, считаясь номинально родоначальникомъ, въ сущности былъ чуждъ передвижникамъ и не любилъ ими, они, не задумываясь, выдѣляли въ немъ все то, что хоть по видимости сприкасалось съ „передвижничествомъ“, а остальное отбрасывали, какъ негодное. „Настоящими воплощеніями духа творчества и таланта Федотова были только двѣ картины—„Свѣжій кавалеръ“ и „Сватовство маіора“... пишетъ В. В. Стасовъ. „Другія картины Федотова либо сентиментальны (например, его „Вдовушка“), либо незначительны и неинтересны, и при томъ мало распространялись въ публикѣ“. Но и при этомъ весьма простомъ решеніи вопроса у Стасова остается недоумѣніе: „Чудно и невообразимо то, что этому странному художнику было суждено сдѣлаться впослѣдствій родоначальникомъ цѣлаго отѣла русской живописи“. Тѣмъ болѣе чудно, что, по увѣренію названнаго авторитета, у Федотова не было ровно никакихъ данныхъ для выпавшей на его

См. А. И. Сомовъ. „Павелъ Андреевичъ Федотовъ“. Спб. 1878, стр. 26.

долю участи. „Этот странный художникъ очень мало видѣлъ и читалъ, не имѣлъ понятія о томъ, что дѣлается въ Европѣ, голландцевъ не зналъ, Гогарта игнорировалъ и даже очень „не любилъ“ (когда впослѣдствіи узналъ его), писалъ сѣрыми, неумѣлыми красками... Однимъ словомъ, „отецъ“ у передвижниковъ оказался престранный, отъ котораго сами дѣти, присмотрѣвшись спокойнѣе и внимательнѣе, стали въ поздній періодъ своей дѣятельности почти отрекаться, но котораго усиленно называли имъ историки... Зачѣмъ?

Перейдя къ слѣдующимъ дѣятелямъ русской художественной жизни—къ „мирь-искусникамъ“, мы встрѣтимъ любопытный отвѣтъ на нашъ вопросъ. Новому движению должно было быть чуждо въ Федотовѣ и то, что было въ немъ отъ Брюллова (что отвращало отъ него передвижниковъ), и то, что было—отъ „анекдота“ (чѣмъ любъ былъ онъ дѣятелямъ 70-хъ и 80-хъ годовъ). И дѣйствительно, А. Н. Бенуа, сохранивъ въ неприкословенности сомовско-стасовскую гипотезу, только характеризуя образомъ ее дополняетъ. „Все дальнѣйшее русское искусство“—говорить только что названный историкъ—„шло, по чѣмъ вплоть до нашего времени, по стопамъ Федотова“. Здѣсь все старое, кромѣ „почти“—въ которомъ, однако, вся суть дѣла. Федотовское „отцовство“ теперь ограничено опредѣленнымъ періодомъ, и новое поколѣніе отнюдь не записываетъ этого мастера въ свою художественную генеалогію. А такъ какъ періодъ, связанный съ Федотовымъ, теоретиками нового поколѣнія былъ почти весь отброшенъ, какъ болѣзnenный уклонъ русской художественной жизни, то такая же участъ грозила и Федотову, тѣмъ болѣе, что родство Федотова съ „академистами“ отрицалось теперь еще безусловнѣе, чѣмъ это дѣлалъ Стасовъ. Чтобы выйти изъ тупика, потребовалась рѣшительная переоценка федотовскихъ произведеній, одѣнка почти обратная той, что дали намъ Сомовъ и Стасовъ. Все творчество Федотова, за немногими исключеніями, принимается теперь, какъ „случайное и недоговоренное“, какъ „первые пробы пера, далеко не выражавшія личности художника“, а основная цѣнность этого мастера переносится... въ будущее. Пріемъ уже однажды испробованный—Дружининъ просвѣтомъ въ неразгаданное будущее казались федотовскія сепіи, а Бенуа—„Офицерь въ деревнѣ“, и равно убѣжденно они рисуютъ намъ будущаго художника... Однако, изучая мастера, развѣ мы вправѣ итти далѣе его смерти?

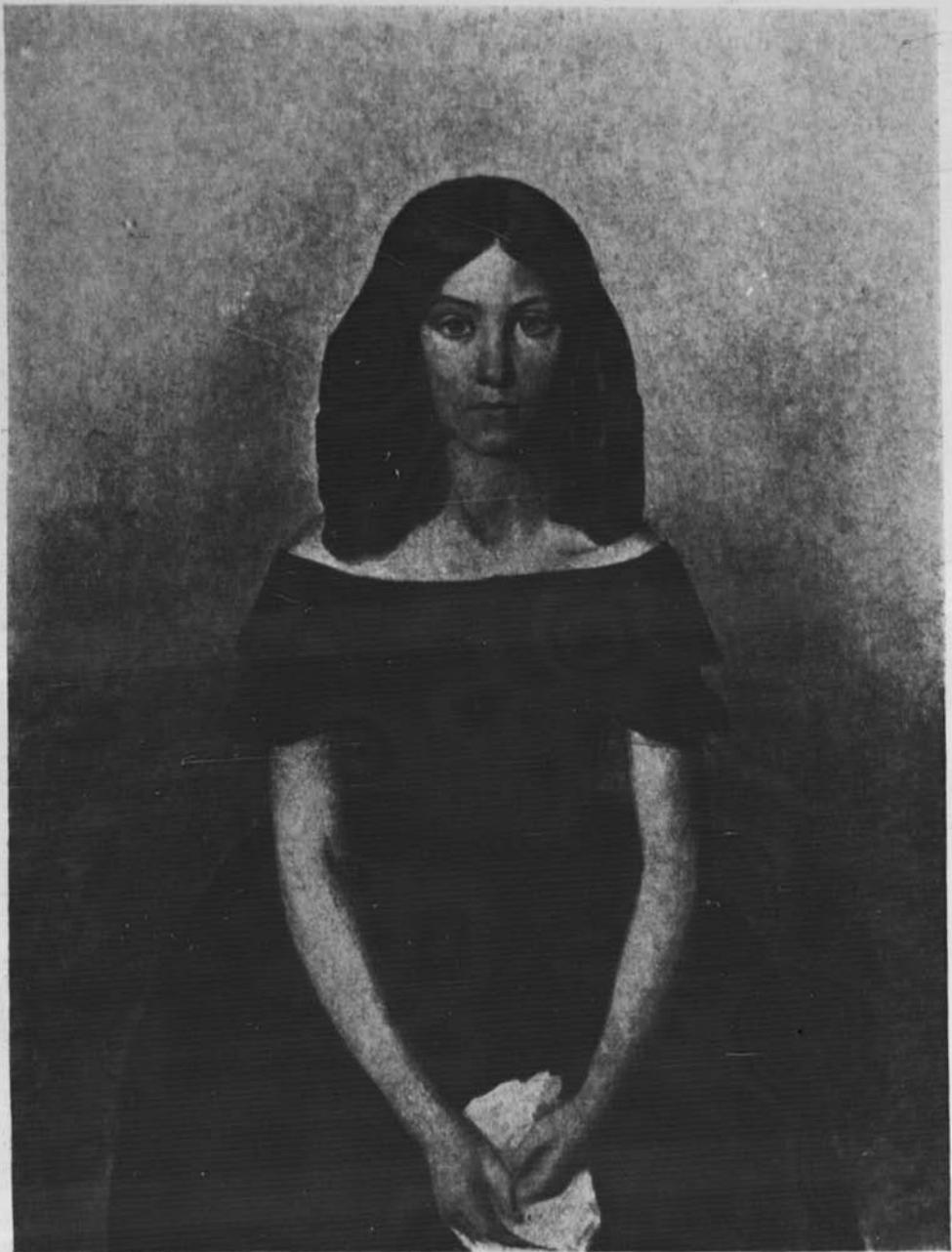
Итакъ, мы видимъ, что если Сомовъ въ свое время связалъ воедино Федотова съ передвижниками, то этимъ онъ хотѣлъ прославить и украсить и того и другихъ, тогда какъ Бенуа, настаивая на той же связи, искалъ совершенно обратнаго, хотѣлъ у малить, ослабить „передвижничество“, выводя его изъ „случайныхъ пробъ пера Федотова“, почти не выражавшихъ личности художника.

Послѣ гипотезы, построенной „Миромъ Искусства“, странность положенія Федотова возросла въ высокой степени. Что за несуразный „родоначальникъ“, на котораго недоумѣвалъ и даже съ опаской косились „дѣти“, и про котораго внуки утверждали, что онъ строилъ козни равно и предку своему Брюллову, и потомству—



И. А. Репин. 'Смерть Ивана Грозного' (масло). (Музей Имп. Александра III).

P. Fedotow. Esquisse inachevée d'un tableau (huile).
(Musée Alexandre III).



П. А. Федотовъ. Портретъ Н. П. Ждановичъ.
(акварель). (Музей Имп. Александра III).

P. Fédotow. Portrait de melle N. Jdanowitch
(aquarelle). (Musée Alexandre III).

передвижникамъ. Ужъ не рѣдкій ли это геній, заглянувшій далеко впередъ? У насть нѣть вѣскихъ оснований наименовать Федотова такимъ геніемъ, но тогда кто же онъ? Этотъ вопросъ долженъ быть встать назойливой помѣхой передъ каждымъ, вновь берущимся за изслѣдованіе о Федотовѣ. И дѣйствительно, въ новомъ и крайне примѣчательномъ опыте „утвержденія“ Федотова, сдѣланномъ сравнительно недавно (1907 г.) Н. И. Романовымъ, мы наблюдаемъ настойчивыя попытки устраниТЬ какимъ либо путемъ противорѣчія, накопившіяся вокругъ „Федотова“, причемъ подходъ къ темѣ значительно измѣнился въ сравненіи съ предшествующими изслѣдованіями. Выводы теперь, почти не отрываясь, слѣдуютъ за внимательнымъ наблюденіемъ самого факта, т. е. произведеній художника, теорія слагается теперь почти исключительно изъ результатовъ наблюденія, и вотъ—рождается еще одна гипотеза. Она говорить нѣчто рѣшительно противоположное тому, что сказалъ Сомовъ (а за нимъ Стасовъ и Бенуа): „Краски, образы и характеръ сатиры Федотова связываютъ его больше съ русской жизнью и искусствомъ первой половины XIX вѣка, чѣмъ съ періодомъ дальнѣйшаго развитія послѣ реформъ“. Федотовъ, какъ художникъ, завершаетъ труды русскихъ реалистовъ первой половины вѣка⁴. Впрочемъ, несмотря на то, что Романову удается обосновать вышеуказанное положеніе рядомъ точныхъ примѣровъ, ему самому этотъ выводъ кажется слишкомъ рѣзкимъ, слишкомъ круто порывающимъ съ традиціонной гипотезой исторического мѣста Федотова, и онъ пробуетъ смягчить свое наблюденіе такимъ добавочнымъ поясненіемъ: „Федотова нельзя считать главой и основаніемъ того реального направленія русской живописи, которое такъ пышно расцвѣло въ творчествѣ передвижниковъ... но, завершая своимъ творчествомъ старыя напластыванія, онъ тѣмъ самымъ создалъ почву, которая была необходима для образования нового слоя“. Да вѣдь еще въ большей мѣрѣ, чѣмъ Федотовъ, завершалъ старыя напластыванія Брюлловъ или Венеціановъ, а мы не станемъ утверждать, что Брюлловъ есть прямая причина появленія Крамского, Венеціановъ—появленія Рѣпина, и столь же мало мы имѣемъ основаній говорить, что безъ Федотова не было бы В. Маковскаго...

Закончимъ на этой гипотезѣ нашу справку; она показываетъ намъ, какъ много въ современномъ понятіи „Федотовъ“ невѣрного, противорѣчиваго, повторляемаго только по привычкѣ. Безъ сомнѣнія, такая путаница объясняется отсутствіемъ какихъ либо дѣйствительно твердо установленныхъ итоговъ. Когда послѣдній изъ цитованныхъ нами авторовъ—Н. И. Романовъ—попытался установить нѣкоторые изъ такихъ объективно-наблюденныхъ выводовъ, то ему сразу пришлося нарушить обычное, ставшее отъ частаго повторенія почти азбучной истиной, толкованіе. И это для насть—благопріятный знакъ. Если теперь, стремясь забыть о затверженныхъ схемахъ и вѣря только глазу, мы придемъ къ еще болѣе необычайнымъ итогамъ, то значить ли это, что мы сбились съ пути? Гдѣ этотъ твердый и всѣмъ равно обязательный путь? Его еще только ищутъ...

Жизнь Федотова (1815—1852)

З а годы, прошедшие со дня смерти Федотова, его оценивали и переоценивали не однажды, какъ мы только что убѣдились; однако это ничуть не подвинуло дѣла изученія матеріаловъ о Федотовѣ. Запасъ источниковъ, собранный въ свое время Сомовымъ, дошелъ до нашихъ дней, почти никѣмъ болѣе не пополненный и никакъ не прорѣченный. А между тѣмъ этотъ матеріалъ мало надеженъ, какъ составленный изъ случайныхъ воспоминаній и анекдотовъ о разныхъ происшествіяхъ и случаяхъ изъ жизни художника. И вотъ... каждый изъ изслѣдователей бралъ изъ одного, общаго имъ всѣмъ, запаса разрозненныхъ и пристрастныхъ соображеній и сенгенцій, оставленныхъ потомству друзьями Федотова, то, что по его мнѣнію наиболѣе подчеркивало нужный для его теоріи обликъ художника, и конечно, такъ какъ всѣ они опирались на одинаково недоказанное, то всѣ и оказывались одинаково правы. Тѣмъ же путемъ, по необходимости, пойдемъ и мы, но намъ хотѣлось бы обойтись по возможности безъ поясненій „услужливыхъ друзей“ и ссылаться только на подлинныя слова самого художника, а ихъ мы находимъ почти исключительно въ немногихъ стихотворныхъ опытахъ Федотова. Конечно, пользуясь этимъ скучнымъ источникомъ, нельзя и думать о полномъ и доказательномъ восстановленіи жизни художника. Нашъ очеркъ будетъ такою же рабочей гипотезой, какъ и прежнія біографіи, развѣ лишь болѣе краткимъ и... откровеннымъ, такъ какъ мы не утверждаемъ, что обликъ художника именно таковъ, какимъ построимъ его мы, но мы утверждаемъ, что этотъ сочиненный нами обликъ былъ для насъ ключемъ къ творчеству мастера. Желающимъ мы даемъ тотъ же ключъ... вотъ весь смыслъ предлагаемой „біографіи“.

Весь жизненный путь Федотова можно определить, какъ непрерывно и неотвратимо возрастающій рядъ противорѣчій между безобразными условіями судьбы и прекрасными требованіями мозга. Въ этой же борьбѣ заключался главный жизненный опытъ художника; этотъ опытъ, капля за каплей, изо дня въ день, вдалбивался въ память и въ концѣ концовъ былъ воспринятъ мастеромъ, какъ нѣчто неизбѣжное, даже какъ само собой понятное условіе жизни. Подобное убѣженіе Федотовъ и высказалъ въ четверостишии (въ альбомѣ М. А. Половцова):

Все планъ за планомъ въ головѣ...
Но жребій рушить эти планы...
О, не одна намъ жизнь, а дѣлъ
И суждены и даны...

Таково основное объясненіе всей судьбы художника; слѣдя ему, мы воспримемъ произведенія Федотова не случайными, а исковерканными, договоренными, но насилиемъ зажатыми ртомъ...



П. А. Федотовъ. Портретъ А. П. Ждановичъ
(масло). (Музей Имп. Александра III).

P. Fédotow, Portrait de m-lle A. Jdanowitch
(huile). (Musée Alexandre III).



П. А. Федотов. Рисунки (свинцовый карандаш).
(Музей Имп. Александра III).

P. Fédotow. Dessins (mine de plomb).
(Musée Alexandre III).

Дѣтство Федотова прошло въ Москвѣ; про эту пору художникъ указываетъ, что ,сила дѣтскихъ впечатлѣній, запасъ наблюдений, сдѣланныхъ мной при самомъ началѣ моей жизни, составляютъ, если будетъ позволено такъ выразиться, основной фондъ моего дарования⁴ (изъ автобиографической записки). Въ этомъ иѣть, конечно, ничего удивительного—такова же сила дѣтскихъ впечатлѣній большинства людей. Однако это обычное явленіе Федотовъ подчеркиваетъ, какъ иѣчто примѣчательное, очень на немъ настаиваетъ и неоднократно упоминаетъ, что въ часы творчества онъ какъ бы переносится въ дѣтство и въ Москву. И художникъ былъ правъ, подчеркивая это, такъ какъ данныя указанія объясняютъ намъ столь чудесныя, въ сущности, по силѣ и быстротѣ своего возникновенія, три первыхъ прославленныя картины его масломъ; мы догадываемся теперь, что онѣ являются воплощеніемъ замысловъ, уже давно выношенныхъ, итогомъ наблюдений, уже давно накопленныхъ, только ждавшихъ часа своего осуществленія.

Еще болѣе сильную печать на самую личность Федотова, на уклонъ его творчества должны были наложить годы юношества (кадетскій корпусъ) и годы возмужалости (военная служба), тѣ годы, когда человѣкъ ищетъ себя и долженъ найти и когда художникъ впервые почувствовалъ, что въ немъ не одна жизнь, а двѣ...

Мы не будемъ гадать о томъ, что вышло бы изъ Федотова, попади онъ въ иную обстановку, попади онъ, напримѣръ, какъ Ивановъ или Брюлловъ, съ малыхъ лѣтъ въ академическую выучку. Это такъ же бесплодно, какъ гадать о будущихъ произведеніяхъ художника. Сама же исторія жизни мастера намъ лишь указываетъ, что почти до 30 лѣтъ онъ занимался искусствомъ либо урывками, либо вовсе не занимался, т. е. что въ ту пору, когда слагается самый остовъ художественнаго облика, Федотовъ долженъ быть прозябать на степени первоначального дилетантизма. Конечно, можно привести не одинъ примѣръ изъ исторіи искусства, когда столь же поздно взявшиеся за кисть художники успѣвали развить свое дарование до высокой степени, но надо помнить, что самую художественную культуру имъ удавалось впитать все же раньше; у Федотова не было и этого, въ годы зрѣлости онъ былъ не только—еще дилетантомъ, но и... дикаремъ. Да, вотъ какъ самъ художникъ рисуетъ намъ ту обстановку, въ которой ему суждено было вынашивать свои творческія наблюденія:

Иѣть, некогда мечтать у насъ;
Солдатъ весь вѣкъ, какъ подъ обухомъ —

рассказываетъ Федотовъ въ своихъ виршахъ ,Къ моимъ читателямъ, стиховъ моихъ строгимъ разбирателямъ⁴.

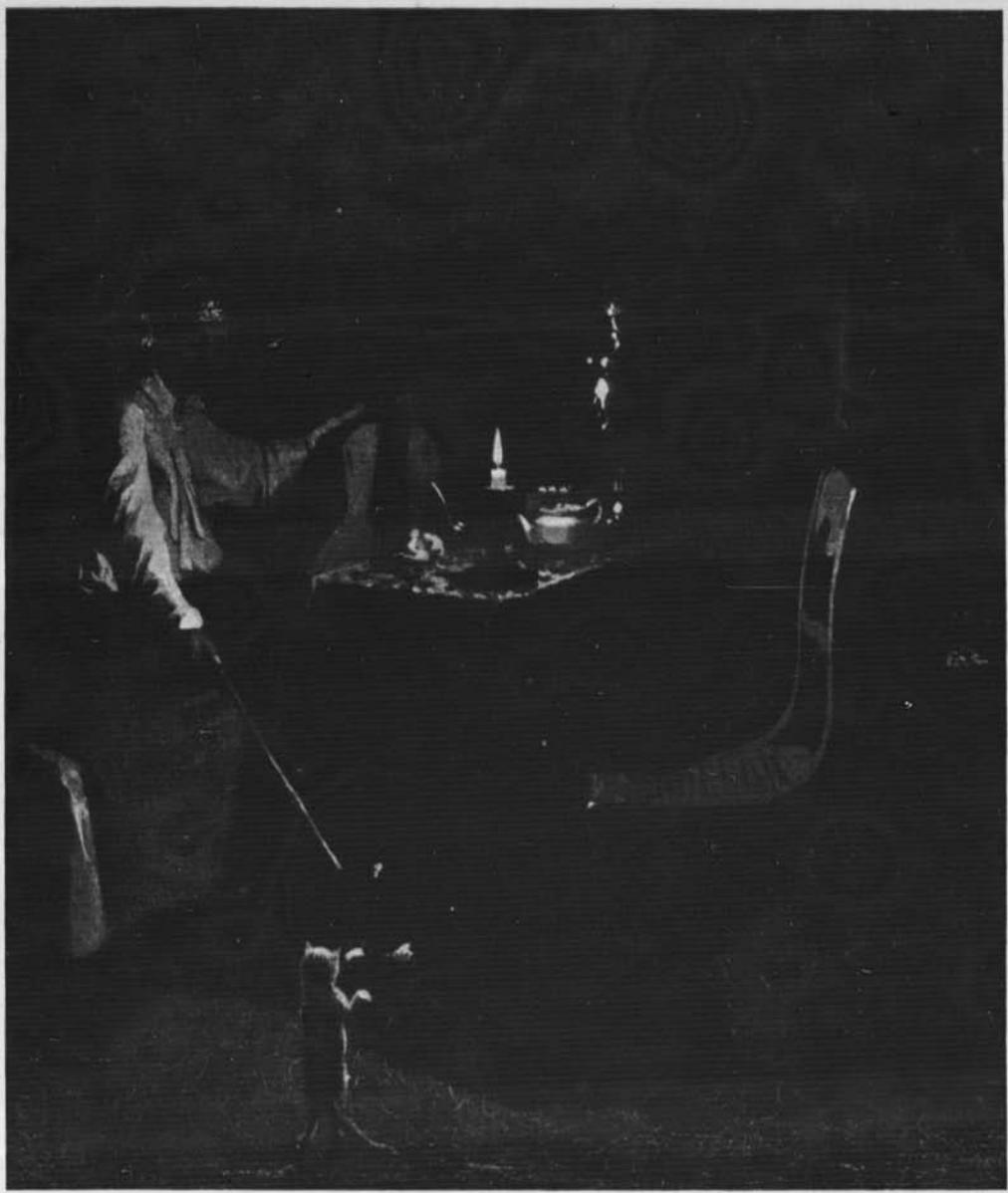
Иѣть, въ нашей шкурѣ
Попробуй гимны пѣть натурѣ:
Воспой ка ручейки тогда,
Какъ въ саногахъ бурчить вода...

Иль въ сюртукѣ въ одномъ въ морозъ,
Простой, начальство ожидал,
Тогда какъ пальцы, замирая,
Не въ силахъ сабли ужъ держать.
Изволь ка въ руки лиру взять,
Да грянь торжественную оду
На полуночную природу.
Нѣть, милый, рта не разведешь
И волчью пѣсню запоешь.

И какъ общий выводъ эпохи, похитившей у Федотова драгоценную пору его возмужалости:

Нашъ братъ ослѣпъ, оглохъ,
Блаженство наше: чарка въ холодъ,
Да ковыль воды въ жару, да въ голодъ
Горячихъ миска щей, да сонъ,
Да преферансъ, и Аполлонъ
И съ музами спроваженъ воинъ.

Однако въ эти же военные годы уже настойчиво требовала своего утверждения вторая жизнь Федотова — подчиненная „музамъ“; отсюда дѣлаются понятными та крайность, тотъ „подвижнический“ оттѣнокъ, которые отличаютъ послѣдній періодъ жизни Федотова, отданный искусству. Въ періодъ военщины, музы — какъ мы только что убѣдились изъ словъ самого художника — были совершенно и очень круто спроважены воинъ⁴. Отсюда у Федотова, уже долгое время тайно и страстно прислушивавшагося къ музамъ, должна была народиться естественная и столь же крайняя реакція. Художникъ желалъ вырвать съ корнемъ причину мучительного двоенія своей жизни, но въ немъ уже были вытравлены долгимъ надрывомъ силы, которыхъ позволили бы ему примирить эти „двѣ жизни“, да кромѣ того не случилось и вѣнчанихъ условій, которыхъ поспособствовали бы такому примиренію. И Федотовъ задумалъ истребить, тягостный внутренній разладъ, „спровадивъ воинъ“ изъ своей жизни все, кроме служенія искусству. Этимъ объясняю я рѣзкое различіе, которое выяснилось въ какія нибудь 5—6 лѣтъ и такъ горестно изумило ближайшихъ друзей художника, различіе между Федотовымъ-офицеромъ и Федотовымъ-живописцемъ. Причемъ въ самомъ же началѣ этой героической попытки произошло то, что рѣшило судьбу художника, что заставило его жизнь сгорѣть съ судорожной быстротой. Правда, роль судьбы въ жизни Федотова выпала на долю лица, имѣвшаго и благотворное, даже руководящее значеніе въ развитіи творчества художника, — я говорю про Брюллова. Но Брюлловъ же произнесъ слово, которое потомъ не отступно звучало въ мозгу художника, даже, какъ мнѣ представляется, звучало все громче, съ силой все болѣе устрашающей, пока не довело до предѣльной грани — до сумасшествія. Брюлловъ указалъ Федотову, что въ его годы трудно, если не не-



П. А. Федотовъ. „Офицеръ съ денщикомъ“
(масло). (Музей Имп. Александра III).

P. Fédotoff. „L'officier et son ordonnance“
(huile). (Musée Alexandre III).



П. А. Фридотоф. Из школы Филатова (сепия).
(Третьяковская галерея).

P. Fridotoff. *Le petit chien* (sepia).
(Galerie Tretiakoff).



И. А. Репин. „Художникъ, живущійся безъ приданаго“ (сепія). (Третьяковская галерея).

P. Fédotoff. „Le peintre qui s'est marié sans dor“ (sépija). (Galerie Tretiakoff).



П. А. Федотовъ. „У постели“ (масло).
(Музей Имп. Александра III).

P. Fédotoff. „Près du lit“ (huile).
(Musée Alexandre III)

возможно, овладѣть техникой живописи. Впрочемъ, безжалостный наставникъ оставилъ просвѣтъ надежды ученику, сказавъ, что усиленнымъ трудомъ можно попытаться наверстать утраченные годы... И Федотовъ ухватился за эту соломинку съ торопливой страстью. На первыхъ порахъ художникъ видимо твердо вѣровалъ, что ему удастся побороть всѣ преграды. Этой увѣренности способствовали, во первыхъ, то, что въ художникѣ уже созрѣли давно выношенные замыслы, ждавшіе для воплощенія лишь свободного часа, во вторыхъ — чрезвычайно несложный взглядъ на технику искусства. Федотовъ въ первые годы своего выступленія на художественное поприще попросту не понималъ всего значенія словъ, сказанныхъ ему Брюлловымъ; вся ихъ непреложность выросла передъ нимъ только впослѣдствіи, одновременно съ тѣмъ, какъ углублялся, ширился и дѣлался все недостижимѣй въ глазахъ Федотова терминъ — «живописное мастерство». Вотъ эта то первоначальная безсознательность и помогла художнику съ такой чудной быстротой, съ такой наивной радостью создать своихъ, «Свѣжаго кавалера», «Разборчивую невѣсту», «Сватовство маюра». Но вѣдь то были только «пробы пера», лишь первое выступленіе, лишь мѣсто, которое расчистилъ себѣ мастеръ, чтобы начать творить. Названныя три картины были какъ бы гранью, рѣзко переломившей жизнь художника на двѣ части — сзади тѣни и тяжелый сумракъ годовъ, когда муга была «спроважена вонъ», впереди — возможность солнца.

Любезная, взгляни!

Насупротивъ стѣна!.. и я всю жизнь... въ тѣни.

Въ тѣни! Межъ тѣмъ, порой, изящества начало

Въ душѣ про сладкое про что то мнѣ шептало...

(Изъ басни Федотова, «Пчела и цвѣтокъ»).

Конечно, для того, чтобы со всей ясностью понять тяжесть и силу тѣни, въ которой пришлось прозябать художнику лучшую часть жизни, ему нужно было хотя бы ненадолго ступить на полосу земли, залитую солнцемъ. Такимъ солнечнымъ сияніемъ, медовымъ мѣсяцемъ его судьбы, стали для Федотова немногіе годы шумной славы, вызванной только что указанными мною произведеніями:

Когда широкая мольва
Души неясныя слова
Собой мнѣ пояснила;
Я понялъ, чѣмъ меня природа одарила,
Какой блестящій мнѣ дала удѣль...
(Изъ той же басни.)

Но... понять это было дано Федотову какъ будто для того, чтобы вскорѣ же и со всей силой осознать безвыходность своего положенія. Художникъ воспринялъ свою славу, какъ живительную силу; эта слава несказанно облегчила роство его художественной сознательности, но облегчила какъ будто для того, чтобы приблизить

конецъ... Иѣсколькоихъ лѣтъ судорожной работы мозга и рукъ было достаточно, чтобы Федотовъ на много годовъ переросъ своихъ недавнихъ единомышленниковъ, а отсюда открылся рядъ мучительныхъ взаимныхъ недоумѣній. Недавніе цѣнители и почитатели художника недоумѣвали, какъ онъ могъ послѣ поучительныхъ и забавныхъ въ своей сложности сепиѣ, послѣ „полныхъ жизни“ и веселости жанровъ перейти къ простой, скучной въ своей несложности и обычной въ своемъ замыслѣ „Вдовушкѣ“. А художникъ недоумѣвалъ, какъ, рядомъ со строгой выношенностью, спокойной прелестью и четкостью письма „Вдовушки“, его друзья могли оглядываться на наивную выписку и композиционную случайность его первоначальныхъ картинокъ. Результатомъ недоумѣній было то, что шумъ славы вокругъ Федотова такъ же быстро спалъ, какъ и возникъ... И художникъ вновь почувствовалъ себя въ еще усугубленной тѣни:

Душа лишь средствъ къ развитию искала,
Но въ нихъ, увы! судьба мнѣ вовсе отказалася..
Я жажду солнца, но оно
Въ мое не жалуетъ окно!..

Для дальнѣйшаго развитія у Федотова уже не хватало ни вѣры въ себя, ни общественнаго сочувствія. Воплотивъ въ первыя свои работы все издавна лѣбянное, художникъ вдругъ ощутилъ пустоту, осозналъ себя безпомощнымъ ученикомъ, которому нужны годы и годы трудной учебы. Гигантскій скачекъ впередъ, который сдѣлало его искусствопониманіе, бросилъ Федотова далеко прочь отъ его недавнихъ идеаловъ, отъ тѣхъ идеаловъ, которымъ онъ нашелъ въ русскомъ обществѣ столь много единомышленниковъ...

Намъ все твердили, начиная съ Дружинина, что Федотовъ переходилъ отъ голландцевъ къ Гогарту и отъ Гогарта къ голландцамъ. Однако въ недавно обнародованныхъ рисункахъ художника (принадлежащихъ М. К. Азадовскому) мы наталкиваемся на вполнѣ определенные доказательства того, что тяготѣнія мастера вовсе не были столь узко-определенными. Такъ, напримѣръ, Федотовъ вглядывался, и очень пристально, въ Микеланджело. Онъ зарисовываетъ отдельныя фигуры изъ „Страшного суда“, копируетъ иѣкоторыя статуи, наконецъ на одномъ листѣ мы читаемъ такую надпись: „Надобно имѣть компасъ въ глазу, а не въ рукѣ. Микеланджело... не любилъ подражать точно природѣ, если она не представляла совершенства“. Вотъ деталь художественныхъ поисковъ Федотова, которая вдругъ мѣняетъ общепринятую схему его пониманія; оказывается—этотъ „странный“ художникъ, только что написавъ „Маюра“, сталъ размышлять о степени подражанія природѣ, сталъ искать компасъ не въ рукѣ, а въ глазу. Но задуматься надъ этимъ—значило для Федотова рѣшительно потерять почву подъ ногами... Въ самомъ дѣлѣ, раньше дѣло обстояло такъ просто: обдумать сю-



Г. Дор. „Нимфа“ (масло).
(Имп. Эрмитажъ).

G. Dow. „La nymphe“ (huile).
(Ermilage Impérial).



И. Щедровскій. Подгот. рисунокъ свинц. карандашемъ
къ одной изъ литографій альбома „Вотъ наши!“ (1845).
(Собрание Б. И. Хвощинскаго, въ Римѣ).

I. Stchedrovski. Types russes. Dessin,
mine de plomb. (Collection
B. Khvostchinsky, Rome).

жеть, выискать модель, скопировать натуру какъ можно тщательнѣй—вотъ рецептъ, какъ будто бы и простой, который удачно использовалъ однажды Федотовъ и въ который потомъ такъ нерушимо вѣровали передвижники. Художникъ его отбросилъ, но чѣмъ могъ бы онъ его замѣнить? Какими путями и когда ему удалось бы вооружить компасомъ не руку, а свой духовный глазъ? Гдѣ та среда, тѣ соучастники, наконецъ то время, которые помогли бы ему въ такой труднѣйшей задачѣ? Вглядываясь въ тѣ рамки, куда втиснула художника судьба, мы поистинѣ не находимъ иного выхода, чѣмъ тотъ, что нашелъ самъ Федотовъ... Намъ говорять, что причиной всему были его стѣсненные денежныя обстоятельства, что на него и такъ надломленныя силы тяжелымъ грузомъ легла забота объ отцѣ, матери, сестрѣ; однако онъ легко могъ, если бы хотѣлъ, помочь своей судьбѣ женихѣй на нравившемся ему и полюбившемъ его богатой дѣвушкѣ. Но Федотовъ минуетъ этотъ мирный путь. Ему кажется непрѣемлемымъ какой либо иной исходъ, кромѣ упорного единоборства съ судьбой. Онъ послѣдовательно отстригаетъ отъ себя все, что стало бы помѣхой этому единоборству, точно нарочно спѣшитъ приблизить конецъ, который и такъ уже былъ не за горами. Неоднократно упомянутый нами пріятель Федотова, Дружининъ, напрасно звалъ его къ себѣ въ деревню отдохнуть, предлагая ему всѣ удобства, обѣща даже выстроить мастерскую. Федотовъ отказался наотрѣзъ, ссылаясь на то, что слава—дымъ: „Надо чаще пускать этого дыма; не то онъ разойдется по воздуху“. На возможность удачнаго брака онъ отвѣчалъ словами: „Моей жизни не хватить отдаваться одновременно и искусству, и любимой женщинѣ“.

Какъ я уже говорилъ, крайность первой половины жизни Федотова должна была неминуемо породить новую крайность. Служеніе музамъ, послѣ столькихъ лѣтъ „спровождайї ихъ воинъ“, должно было предстать надломленному мозгу художника, какъ сурое подвижничество. Память о безвозвратно канувшихъ годахъ томила его, какъ неутолимая жажда, и дѣлала его жаднымъ къ каждой минутѣ. Какъ скряга, уже не владѣющій своей страстью, онъ съ безразсудной скучностью копилъ и обращалъ только на искусство каждый свой часъ, каждое движеніе ума и каждый трепетъ сердца. И вотъ когда ему встрѣчается любовь, которая могла бы дать ему и отдохновеніе и новый истокъ силы, онъ бѣжитъ ея, какъ гибельнаго соблазна.

Не тверди про любовь,
Не мути свою кровь,
Свои чувства,
Теплоту береги для искусства.

(Изъ стихотв. Федотова „Оля“).

Такъ обостренно, поднявъ жизненный долгъ до закона аскета, понялъ Федотовъ свою „вторую“ жизнь, отданную искусству. И все таки даже такимъ путемъ ему

не удалось вытравить изъ своего мозга мучительного двоенія... Когда мы оглядываемся на то, откуда вышелъ Федотовъ, куда увлекло художника его стремительно выросшее искусствопониманіе, когда мы пробуемъ примирить его первоначальные идеалы съ идеями, заполнившими его послѣдніе годы,—мы видимъ, что примиренія не могло быть, образовался прорывъ, который заполнить была не въ силахъ единичная человѣческая воля. Передъ нимъ стѣной стали и его недавняя слава сатирика-жанриста, и интересы тогдашняго общества, и каждая мелочь жизни. И тогда намъ становятся понятными вся автобіографическая подлинность, вся центральная правда нижеслѣдующаго описанія послѣднихъ сознательныхъ минутъ его борьбы съ двоеніемъ жизни.

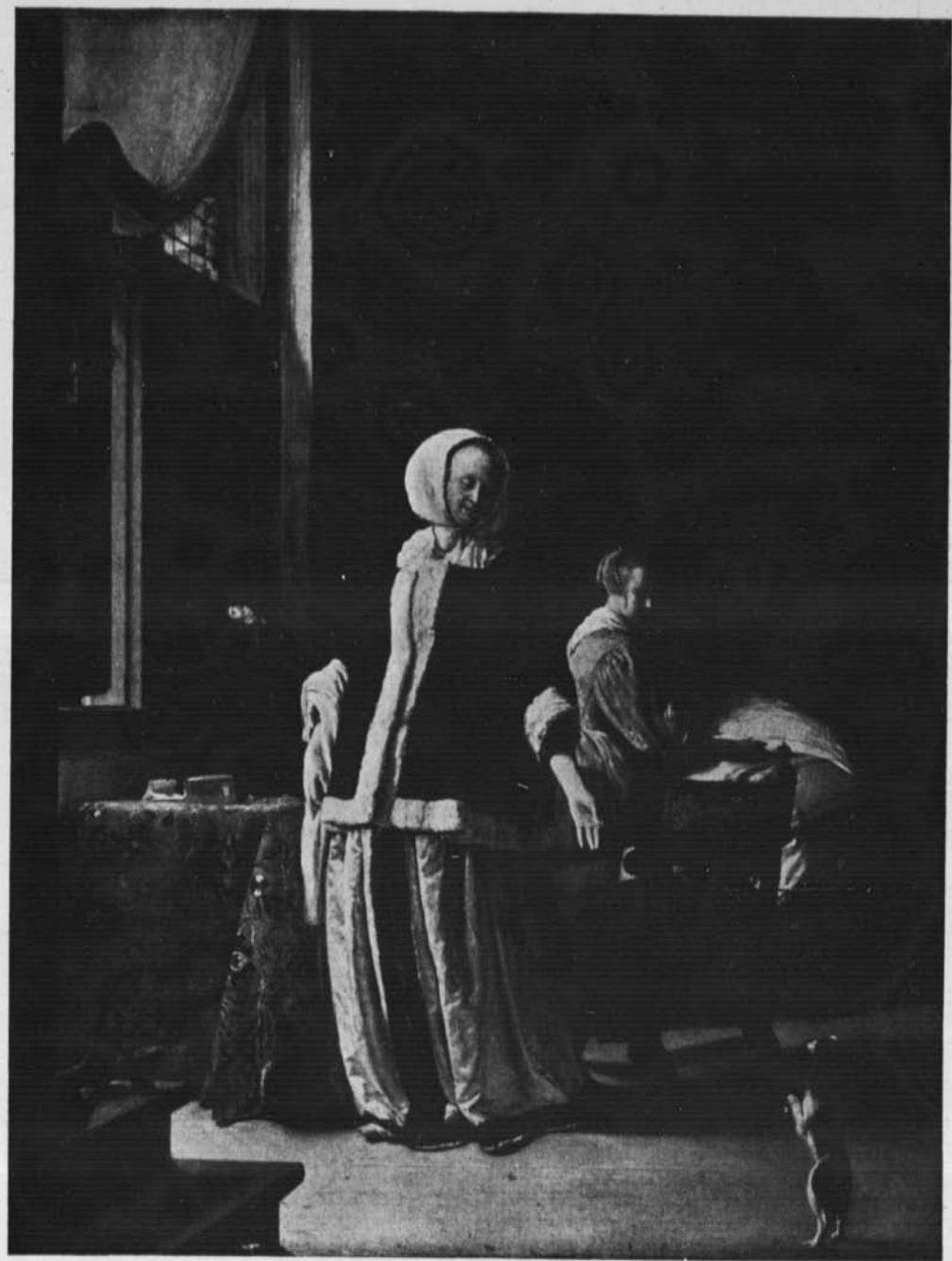
Желанья жаркія „желаньями“ остались,
Отъ безнадежности лучи ихъ къ центру скользили,
И спрѣтый жаръ во мнѣ, какъ ядъ, теперь палить
И весь составъ мой пепелить.

(„Пчела и цвѣтокъ“).

Даѣ, какъ мы знаемъ, Федотовъ сошелъ съ ума. Это его состояніе описывалось не однажды; намъ нѣть нужды составлять новое, но для заключенія данной главы мы приведемъ одно такое описание, на нашъ взглядъ, изъ наиболѣе удачныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ краткихъ: „Лѣтомъ 1852 года у Федотова появились первые признаки психического страданія. Въ душѣ его ярко проснулась болѣзньенная жажда какой то иной, неизвѣданной имъ жизни, и вылилась въ восторженный бредъ объ очаровательной, ждущей его, влюбленной невѣстѣ. Онъ закупалъ для нея подарки, сорилъ деньгами, затѣмъ впалъ въ буйный припадокъ и былъ отвезенъ въ больницу, гдѣ, промучившись нѣсколько мѣсяцевъ, умеръ на 38-мъ году жизни“ (Сергѣй Глаголь). Почемъ знать, можетъ быть этой „влюбленной невѣстой“ была та самая Оля, отъ которой художникъ раньше ревниво оберегалъ свою „теплоту“ и которой, потомъ, онъ задумалъ отдать эту драгоценную „теплоту“—въ минуту отчаянія, потерявъ надежду утишить „испепеляющій его жаръ“ искусствомъ. Итакъ, принявъ всѣ созданія Федотова не какъ свободныя проявленія его дара, а какъ искаженные и прерывистые отблески неравнаго и томительного единоборства художника съ судьбой, мы съ большой осторожностью должны будемъ вглядываться въ оставленное имъ наслѣдіе, мы должны будемъ принять какъ завѣтъ, какъ методъ для изученія его произведеній и какъ мѣру для ихъ оцѣнки—заключительныя слова его, неразъ приводимой уже здѣсь, басни „Пчела и цвѣтокъ“:

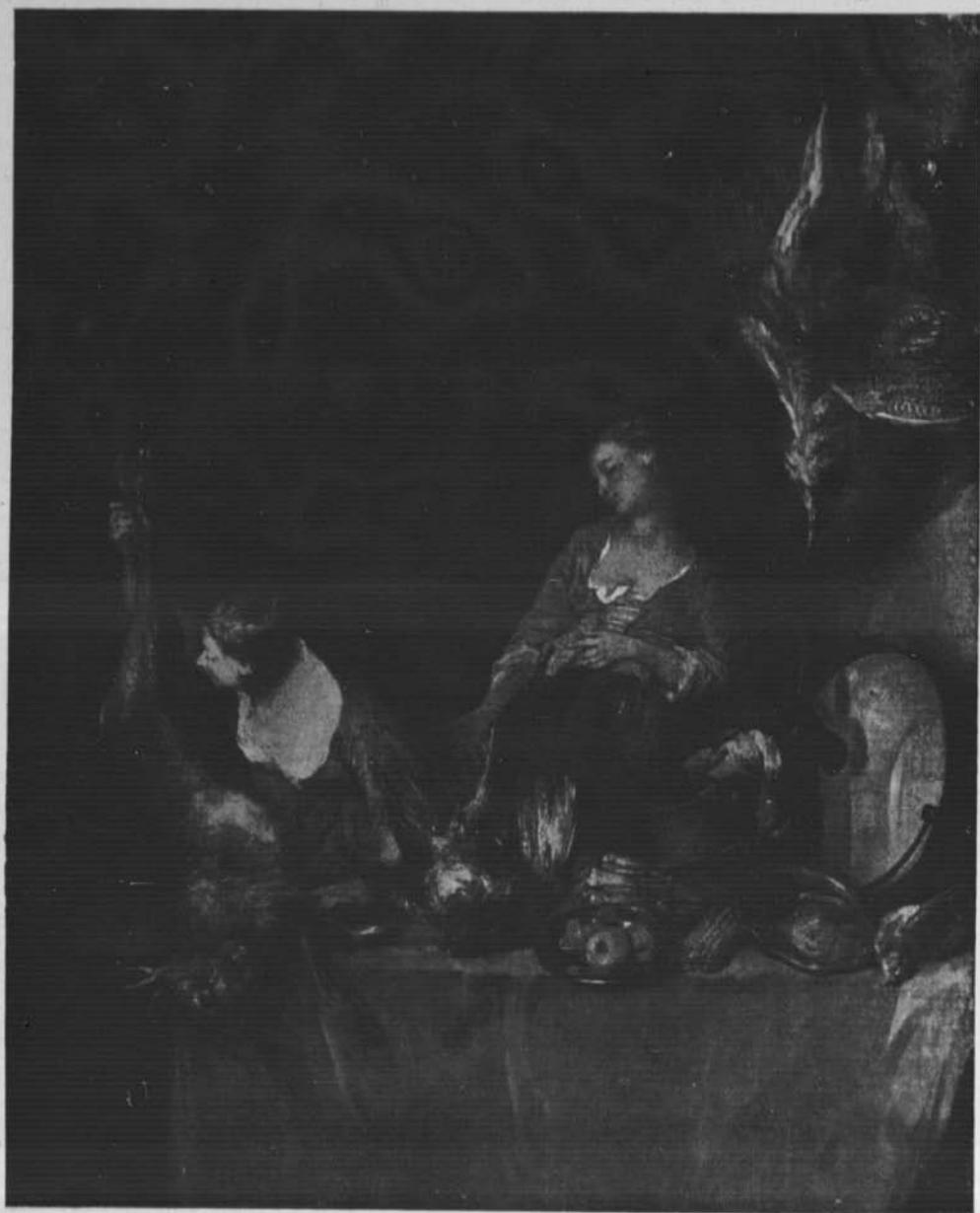
Такъ не дивись, пчела, что я цвѣту такъ вяло,
И не брани меня, не разобравъ, за лѣни;
Ничтожности моей начало—

Тѣнь.



Метсю. 'Въ комнатахъ' (масло).
(Императорскій Эрмитажъ).

Metzsu. 'Intérieur' (huile).
(Ermitage Impérial).



Ланкре. 'Мясная лавка' (масло).
(Императорский Эрмитажъ).

Lancret. 'Boucherie' (huile).
(Ermitage Impérial).

Первоначальные впечатления

Начало систематического художественного образования Федотова относится к середине 30-х годовъ, когда художникъ, перебывавъ служить въ полкъ въ Петербургъ, сталъ посещать вечерніе классы Академіи и Эрмитажъ. Однако несомнѣнно, что и раньше, хотя бы урывками, отлагались въ душѣ мастера художественные впечатленія. Каковы были и откуда шли эти впечатленія,—къ изслѣдованию этихъ вопросовъ въ русской художественной наукѣ еще и не приступали; скорѣй ихъ обходили, и очень простымъ пріемомъ, называвъ Федотова „самобытнымъ“. Правда, Федотовъ самоучка, но это еще далеко не значитъ, что онъ явился на художественное поприще съ явственно обозначившимся вкусомъ, съ уже самобытнымъ путемъ развитія... Чтобы согласиться со мной, достаточно взглянуть на прилагаемыя здѣсь карикатуры и карандашные наброски художника. На одномъ и томъ же листѣ мы увидимъ три различныхъ манеры (см. стр. 3), три разныхъ языка, на которыхъ пытается заговорить, и притомъ одинаково робко, начинающей мастеръ. Здѣсь, на мой взглядъ, только наивный и жадный ученикъ, который учится у всѣхъ встрѣчныхъ и поперечныхъ. Если въ верхней акварели справа мы видимъ неловкую попытку перенять акварельные пріемы брюлловской школы, то слѣва тонкій и рѣзкій очеркъ фигуръ заставляетъ вспомнить о гравированныхъ прорисяхъ съ картинъ, которыхъ прилагались къ тогдашнимъ отечественнымъ журналамъ и изданиямъ; наконецъ въ рисункахъ военнаго (см. стр. 2) опять новый пріемъ, линія угловатая и ломаная, придающая рисунку характеръ быстроты и увѣренности, характеръ, столь несовпадающій съ робкой тщательностью и плавностью двухъ вышеуказанныхъ манеръ. И опять нетрудно указать источникъ этой новой техники художника; стоитъ взять иллюстрованные журналы, французскіе или англійскіе, тогдашняго времени, и мы быстро подберемъ образцы и къ данному рисунку, и къ цѣлой серии Федотова—„Жизнь геніального живописца“, выполненной тѣми же угловатыми, какъ бы торопливыми штрихами. Всѣмъ изучавшимъ Федотова, особенно въ его первоначальномъ періодѣ, знакомо чувство неожиданности, которое порой рождается при взглядѣ на ту или другую его работу. Зачастую лишь подпись заставляетъ насъ признать авторство Федотова, и это потому, конечно, что разбираемый нами мастеръ бывалъ въ одно и то же время чрезвычайно разныемъ. Первые работы Федотова заставляютъ признать въ немъ совсѣмъ не самобытность, а чрезвычайную печатительность къ художественной формѣ, ученика очень разбросанного и далекаго отъ какого либо замыканія въ кругъ излюбленныхъ образовъ, только пчелу, собиравшую нужные ей крупицы съ цветовъ весьма различныхъ, съ полей и близкихъ и дальнихъ.



П. А. Федотовъ.
Рисунокъ.

P. Fédotoff.
Dessin.

Указанные мной источники первоначального вдохновения Федотова—только малая часть всей громадной и сложной его „родословной“. Очень важный розыскъ въ этой области сдѣлалъ И. И. Романовъ, и я считаю полезнымъ привести его здѣсь, чтобы намѣтить хотя бы въ главиѣшихъ чертахъ всю вереницу художественныхъ предковъ Федотова. Такъ, по поводу одной изъ „неожиданныхъ“ работъ Федотова „На базарной площади“, 1847 года, названный изслѣдователемъ говорить, что „ясно чувствуется связь этой акварели съ бесконечнымъ потокомъ шаблонныхъ литографій и рисунковъ, въ которыхъ иностранные художники, пріѣзжавши въ Россію съ конца XVII вѣка, изображали типичныя сцены русской жизни“. Даѣте, справедливо на нашъ взглядъ и другое замѣчаніе того же автора по поводу акварельныхъ портретовъ Пацевичей и Родивоновой 1836—1837 годовъ,

что они „напоминаютъ блѣднымъ матовымъ, желтоватымъ тономъ лицъ, холодными коричневатыми и синеватыми мазками фона акварельные миниатюрные портреты“.

Теперь мы догадываемся объ источникѣ, откуда черпалъ Федотовъ форму для своихъ раннихъ акварельныхъ портретовъ, этихъ печальныхъ акварелей, которыхъ мы съ удовольствиемъ приписали бы кому угодно, только не Федотову; у нихъ чрезвычайно многочисленная родня, тѣ четырехугольные, овальные или круглые миниатюры различныхъ доморощеныхъ или забытыхъ мастеровъ, которыхъ симетрично развѣшивались надъ диванами и столами федотовскихъ знакомыхъ...

И вотъ, сдѣланы только первые шаги къ выясненію раннихъ впечатлѣній мастера, и сразу же передъ нами открылась громадная въ своей сложности и причудливая родословная, вереница вліяній столь различныхъ, случайныхъ и невѣрныхъ, что поистинѣ Федотовъ не могъ, несмотря на всю силу заложенного въ него дарованія, быть кѣмъ либо инымъ, кромѣ какъ мечущимся безобразнымъ под-



Аи братцы! Каждое око заставляют хохлы

П. А. Федотовъ. Рисунокъ свинцовымъ
карандашемъ.

P. Fedotoff. Dessin, mine
de plomb.



Ди и керамик — Они старые товарищи — они знают
А я чист обичай Дане Сюло —
Обичай — по первые соры — Они керамики

П. А. Федотовъ. Рисунокъ свинцовыемъ
карандашемъ.

P. Fédotoff. Dessin, mine
de plomb.

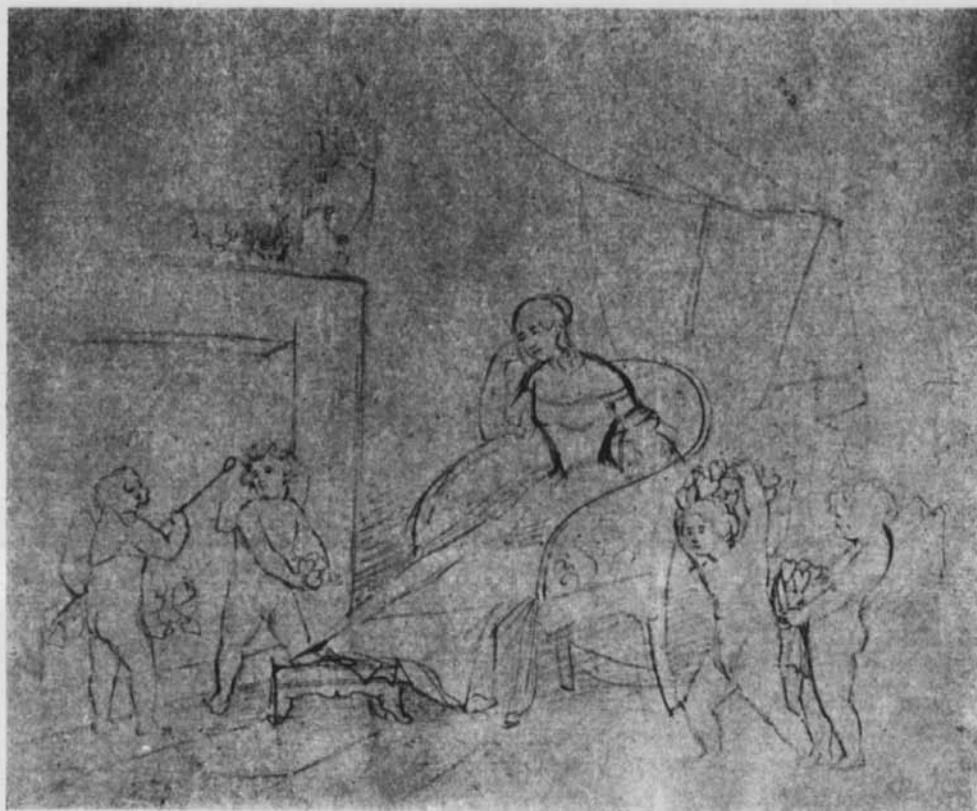
ражателемъ. Какъ неѣри и сѣны были первоначальные поиски Федотова, подтверждаетъ также исторія недолгаго ученичества у профессора Зауервейда. Эта исторія—предостереженіе намъ не дѣлать поспѣшныхъ выводовъ о самой сущности дарованія художника. Онъ, который долгіе годы набрасывалъ исключительно сцены военнаго быта и лагеря, который мечталъ посвятить себя батальной живописи и первые же дни долго жданной свободы отдалъ этому жанру, казалось, поступилъ къ Зауервейду лишь для того, чтобы подчеркнуть, какъ плохо тогда онъ самъ разбирался въ уклонахъ своего таланта. Мы видимъ, что въ тѣ же самые дни, когда художникъ съ такой зоркостью и жадностью почерпалъ недостающей ему опытъ то въ случайныхъ гравюрахъ и миниатюрахъ, то въ политипажахъ тогдашнихъ заграничныхъ и русскихъ журналовъ, то въ созданіяхъ русской живописи отъ Орловскаго и Кипренскаго вплоть до произведеній венеціановской школы, въ то же самое время онъ оказался рѣшительно невоспріимчивымъ къ черствому и разсужденочному рисунку Зауервейда (хотя, напримѣръ, Тиммъ могъ и развиться и окрѣпнуть подъ началомъ именно этого профессора).

Дополнимъ нашъ очеркъ первоначальныхъ вліяній указаніемъ на важную роль, которую сыграли въ образованіи художественной личности Федотова его сверстники и сотоварищи по Академіи, и въ первую голову назовемъ А. Агина. Общеприсовальный курсъ Агина окончилъ въ 1834 г., а Академію въ 1839 г. Такимъ образомъ, ровесникъ Федотову по годамъ (род. въ 1816 г.), онъ лишь на немнога опередилъ его въ смыслѣ академического образования. И когда мы разглядываемъ и оѣбиваемъ рисунки Федотова, то не мѣшаетъ вспоминать о рисункахъ Агина къ „Дѣдушкѣ Крылову“ (1845 г.), къ „Ветхому Завѣту“ (1846 г.) и наконецъ къ „Мертвымъ Душамъ“ (тѣхъ же годовъ). Этотъ художникъ разрабатывалъ тѣ же темы и исходилъ изъ тѣхъ же формъ, на которыхъ, главнымъ образомъ, учился своему рисунку Федотовъ (т. е. скрещивающіяся вліянія Брюллова и заграничныхъ рисовальщиковъ, въ особенности Гаварии). Даѣте, Агинъ труdiлся ранѣе Федотова надъ общими имъ обоимъ сюжетами; кромѣ того они были знакомы (что доказываетъ, напримѣръ, федотовская карикатура на Агина), а разглядывая ихъ рисунки, мы находимъ близость, иногда почти тожество. Отсюда мы въ правѣ назвать Агина ближайшимъ предшественникомъ Федотова, тѣмъ мастеромъ, у которого Федотовъ научился гораздо большему, чѣмъ у своего первого, официально, учителя Зауервейда.

Итакъ, взглянувшись въ первоначальные опыты Федотова, мы отнюдь не признаемъ его самобытнымъ мастеромъ; напротивъ, на первыхъ же шагахъ своего художественного поприща Федотовъ выказалъ себя дарованіемъ чрезвычайно разбросаннымъ и воспріимчивымъ, находящимъ свой путь и свою силу не въ замкнутомъ самоуглубленіи, а въ спайкѣ вліяній очень разныхъ, порой странныхъ по своей случайности и даже печальныхъ, въ смыслѣ культуры и вкуса.

Брюлловъ

Намѣтившисъ, хотя бы въ главныхъ чертахъ, кругъ первоначальныхъ впечатлѣній Федотова, мы тѣмъ самымъ подошли къ уясненію и вообще искусствопониманія тогдашняго русскаго общества. Федотовъ питался и воспринималъ все то же, чѣмъ наслаждался современный ему любитель искусствъ, и... тотъ же путаный темный клубокъ понятій, что былъ тогда въ мозгу художника, мы смыслило можемъ предположить во всемъ обществѣ того времени. И вотъ, чѣмъ отчетливѣй мы представимъ себѣ всю скучность, путаность, даже нелѣпость тогдашняго искусствопониманія, тѣмъ непреложнѣй станеть для настѣнъ обязателъность восторга, почти безумія, отхватившаго и общество и художниковъ 40-хъ годовъ при видѣ грандиозно-задуманной и стройно-выполненной „Помпей“. Мечта русскаго „европейца“, все время опережаемаго и поражаемаго Европой, въ свою очередь поразить ее, эта мечта нашла въ Брюлловѣ достойное воплощеніе... и мы наблюдаемъ, какъ рядъ примѣчательныхъ художниковъ мѣняеть и ломаетъ свой обычный путь, чтобы примкнуть къ зачарованнымъ и безвольнымъ подражателямъ блестящаго и капризного новаго бога. Не зная даже дальнѣйшей дѣятельности Федотова, помни только о той почвѣ, о томъ воздухѣ, въ которомъ росли его первоначальные смутные помыслы объ искусствѣ, и помни также столь рѣзко выявившуюся съ первыхъ же шаговъ чрезвычайную восприимчивость художника, мы можемъ утверждать навѣрное, что творчество Брюллова должно было его ослѣпить, захватить цѣликомъ и надолго и мозгъ и душу... Болѣе того, Брюлловъ сыгралъ въ жизни художника исключительно громадную роль, руководя его дѣятельностью вплоть до послѣдняго произведенія. Что это такъ, я подтвержу нѣсколькими справками изъ биографіи Федотова. Въ главѣ „Жизнь Федотова“ мною уже указывалось роковое вліяніе на всю дальнѣйшую судьбу художника слишкомъ жестокихъ словъ Брюллова, что ему учиться уже поздно, но самъ же произнесшій ихъ, болѣе чѣмъ кто либо другой, стремился помочь Федотову побороть ихъ тягостный смыслъ. Брюлловъ полюбилъ этого страннаго художника, отдавшаго искусству всю силу и страсть зрѣлаго мужа и безпомощнаго, какъ мальчикъ, и слѣдилъ за каждымъ движенiemъ его кисти съ тѣмъ тщанiemъ и строгой любовью, съ какой учитель слѣдитъ за самимъ дорогимъ своимъ ученикомъ. И прежде всего Брюлловъ старается вернуть ученику вѣру въ себя, ибо кому, какъ не автору „Осады Пскова“, было знать всю мучительность сомнѣній и невѣрія самому себѣ. Такъ, онъ ободряетъ Федотова, принесшаго нѣсколько своихъ первоначальныхъ работъ, словами: „Центральная линія у васъ вездѣ вѣрна, а остальное придетъ“. Далѣе Федотову уже не нужно было такихъ одобрений, къ нему пришла слава, въ упоменіи которой художникъ набрасывалъ свои сепіи, все болѣе и болѣе путанныя, торопливыя и бесплотныя. Здѣсь нужна была уже не похвала, а умный и



П. А. Федотовъ.
,Сожигательница сердецъ'.

P. Fédotoff.
,L'allumeuse des coeurs'.

вѣрный упрекъ, и Брюлловъ дѣлаеть его, совѣтуя художнику ,не увлекаться сложностью гогартовскою⁴. Федотовъ какъ будто только ждалъ этого упрека; ученику нужно было только произнесеніе той мысли, которая уже наростала въ немъ самомъ, и вотъ мы видимъ, что художникъ начинаетъ упорно работать надъ освобожденiemъ себя отъ ,сложности⁴ и переходить отъ ,Фидельки⁴ къ ,Завтраку аристократа⁴, отъ этой картины къ совсѣмъ несложной ,Вдовушкѣ⁴, и далѣе, къ ,Офицеру въ деревнѣ⁴ и къ замыслу ,Институтокъ⁴.

Затѣмъ Брюлловъ далъ еще одинъ совѣтъ, который опять таки палъ на весьма благодарную почву и сразу же сказался на произведеніяхъ Федотова. Это былъ совѣтъ писать ,шире, шире, не вдаваясь въ миниатюрность⁴. Однако, чтобы дать такой совѣтъ, надо было вѣрить, что Федотовъ способенъ къ широкому

письму, надо было глубоко понимать размахъ Федотовскаго дарованія, и действительно Федотовъ вскорѣ же оправдалъ довѣріе своего наставника. Уже въ портретѣ девушки за клавикордами проявилось федотовское чутье силы и красоты мазка, хотя эта работа еще насквозь пропитана акварельными приемами. Зато въ портретѣ Флуга вполнѣ ясна напряженная работа художника надъ постиженiemъ новой для него техники. Федотовъ стремится забыть о томъ миниатюрно-тонкомъ, ювелирно-тщательномъ письмѣ, какимъ писалъ онъ хотя бы „Сватовство маюра“, и пробуетъ усвоить и использовать всѣ преимущества масла передъ акварелью и карандашемъ. Такъ, густымъ и широкимъ мазкомъ намѣчены зѣбчи, листъ бумаги, рука, но сдѣлать тотъ же опытъ надъ лицомъ представляется еще слишкомъ отвѣтственнымъ, и Федотовъ обращается зѣбчи къ болѣе привычному ему жидкому акварельному письму, чуть чуть втирая краску въ зерна холста.

Но далѣе, напримѣръ, въ „Офицерѣ съ денщикомъ“, мы наблюдаемъ уже сплошь умѣлое письмо масломъ. Такъ Федотовъ довѣрчиво и стремительно идетъ по путямъ, указываемымъ ему Брюлловымъ. Драгоценныхъ и ставшихъ для него наущной привычкой совѣтовъ Федотовъ искалъ и ждалъ даже послѣ смерти наставника...

Какъ известно, Федотовъ пережилъ Брюллова лишь на нѣсколько мѣсяцевъ (Брюлловъ умеръ 11 июня 1852 года, а Федотовъ 14 ноября того же года). Ко дню смерти Брюллова Федотовъ только что успѣлъ закончить „Девушку“, всю проникнутую своеобразно-воплощенной мечтою о Брюлловѣ, и начать новый эскизъ „Офицеръ въ деревнѣ“. И вотъ эта вещь, такъ какъ мы знаемъ дни, когда ее началъ Федотовъ, приобрѣтаетъ важное биографическое значение; она кажется сгусткомъ той растерянности, той исключительной тоски, что переживалъ Федотовъ (но именно потому, что она написана въ болѣзненно-возбужденномъ, необычномъ для сдержанного художника состояніи, ее трудно брать въ расчетъ при оцѣнкѣ общей линии и уровня творчества Федотова). Федотовъ потерялъ совѣтчика, онъ какъ бы разомъ сбился съ пути, и вотъ онъ цѣпляется за несбыточную надежду (которая лишь подчеркнула силу утраты), начинаетъ вѣрить, что великий наставникъ продолжаетъ двигать его рукой и изъ гроба... Онъ похваляется передъ друзьями, что Брюлловъ и теперь продолжаетъ помогать ему разрѣшать различные живописныя задачи, и на доводы друзей, что это немыслимо, отвѣчаетъ: „Вы всѣ, господа любители, готовы улыбаться и считать это дѣло мечтой воображенія, и, подчасъ, воображенія разстроеннаго; но мы, художники, можемъ дойти до такого состоянія духа, когда бесѣда съ отжившими для насъ болѣе, чѣмъ возможна“.

Мы привыкли, когда думаемъ о Брюлловѣ, тотчасъ же видѣть „Помпею“, а при имени Федотова вспоминать „Сватовство маюра“. Но попробуемъ, хотя бы ненадолго забыть объ этомъ „Брюлловѣ“ и объ этомъ „Федотовѣ“; пусть при имени Брюллова въ нашей памяти пройдетъ вереница его нѣжныхъ и блѣдныхъ рисунковъ, рядъ его чувствительныхъ и чувственныхъ разсказовъ изъ итальянской

или изъ рыцарской жизни, и, наконецъ, такъ же четко и назойливо, какъ раньше ,Номпей⁴, пусть запомнятся намъ чуть тронутый тушью, чуть намѣченныя слабымъ нажимомъ карандаша, прекрасныя пленницы, съ громадными глазами и сонными движеніями, подготовительные эскизы къ ,Бахчисарайскому фонтану⁴, и даѣт сама эта капризная и причудливая композиція, какъ сумма такого ,новаго⁴ Брюллова, какъ душа Брюллова, со всѣмъ ея сентиментальнымъ безволіемъ, и какъ высшее проявленіе изысканности и блеска его ума. А послѣ того просмотримъ Федотова; замѣтимъ позу невѣсты въ ,Сватовствѣ⁴, замѣтимъ ,У постели⁴, его иѣжные и любовно-прочувствованные рисунки дѣвушекъ и дѣвочекъ, тонкій и блѣдный нажимъ его карандаша, наконецъ, его замыселъ картины ,Институтки⁴,—та же, какъ въ ,Бахчисарайскомъ фонтанѣ⁴, ,гаремная⁴ вереница дѣвушекъ,—и, можетъ быть, линія преемства отъ Брюллова къ Федотову покажется не только не невозможной, а обязательной.

Эрмитажъ

Большинство ходячихъ представлений о Федотовѣ и путяхъ его творчества при первой же попыткѣ ихъ проанализовать распадается легче, чѣмъ карточный домикъ... И все таки, несмотря на безславную легкость такихъ побѣдъ, онъ необходимы, такъ какъ, не сдувъ этихъ карточныхъ пирамидъ, мы никакъ не увидимъ линіи художественного пути Федотова. Одной изъ такихъ ,пирамидъ⁴ представляется мнѣ обычна схема роли Эрмитажа въ творчествѣ Федотова. Она такова: сильнѣйшее увлеченіе Эрмитажемъ Федотовъ пережилъ въ началѣ своего художественного поприща, т. е. въ концѣ 30-хъ и въ началѣ 40-хъ годовъ, даѣтъ съ каждымъ годомъ онъ какъ бы отходить отъ старинныхъ мастеровъ, ради современной жизни. Наши изслѣдователи очень опредѣленно указываютъ тѣхъ европейскихъ мастеровъ, которыми болѣе всего увлекался художникъ: это ,маленькие фланандцы и голландцы⁴. При этомъ обозначаются примѣчательные варианты: Сомовъ утверждаетъ, что таковыми были Остаде, Тенирсъ и Броуверъ; Стасовъ же говоритъ, что хотя Федотову и нужно было бы знать голландцевъ, но онъ ихъ вовсе не зналъ; даѣтъ Бенуа, повторяя Сомова, только выкидываетъ почему то Броувера; наконецъ, Романовъ, прозрѣвая, очевидно, въ этой схемѣ иѣчто неладное, дополняетъ авторитетное мнѣніе Сомова-Бенуа двумя новыми именами. И тогда полный списокъ армитажныхъ мастеровъ, вліявшихъ на Федотова, будетъ таковъ: Тенирсъ, Остаде, Броуверъ, Терборхъ и Питеръ де Хоогъ. Причемъ, ради исторической справедливости, надо указать, что удачливымъ родоначальникомъ этихъ сдѣлавшихся отъ частыхъ повтореній почти безусловными утвержденій является не кто иной, какъ Дружининъ. Уяснить себѣ степень и особенности вліянія армитажного собрания на Федотова—дѣло, на мой взглядъ, отнюдь не маловажное.

Такой сложный и разбросанный, такой „неожиданный“ въ своемъ пути художникъ, какъ Федотовъ, съ наибольшей объективностью можетъ быть постигнутъ лишь чрезъ изученіе вліяній на него. Такъ мы сможемъ постичь его вкусъ, болѣе того, его скрытые идеалы и, наконецъ, приблизиться къ его внутреннему облику. Конечно, я быль бы весьма доволенъ, если бы учителями въ Эрмитажѣ для Федотова оказались Стенъ и Броуверъ, одни изъ любимѣшихъ моихъ геніевъ, какъ сдѣлали себѣ такое удовольствіе Сомовъ и Бенуа, приспавъ Федотову свои вкусы, но вопросъ, насколько мы приблизимся при такомъ методѣ изученія къ цѣли, къ самому Федотову. Дружининъ намъ повѣствуетъ, что Федотова всего болѣе прельстили кабацкія сценки Тенирса. Этому нетрудно повѣрить, тѣмъ болѣе, что въ тѣ годы голландцы, и именно Тенирсь и Остаде въ особенности, были въ большомъ почетѣ въ нашихъ художественныхъ кругахъ. Надо помнить, какъ скучны и какой роскошью были тогдашнія художественные изданія; печаталось лишь то, что могло расчитываться на несомнѣнныій сбыть; и вотъ, судя по объявлениямъ тогдашнихъ газетъ и журналовъ, чуть ли не наибольшее число изданий падало на гравюры и литохроміи съ картинъ Тенирса и Остаде. „Живописное Обозрѣніе“, журналъ конца 30-хъ годовъ, спѣшилъ прежде всего дать отиски съ этихъ же художниковъ; наконецъ, забытый или, вѣриѣ, неизученный, но достопримѣчательный старшій современникъ Федотова, Игнатій Щедровскій, началъ свою художественную дѣятельность копіями съ фланандскихъ празднествъ Давида Тенирса. Слѣдовательно, тогда существовала цѣлая мода на Тенирса, и если Федотовъ, когда его спросили объ эрмитажныхъ впечатлѣніяхъ, указалъ прежде всего на Тенирса, то въ этомъ иѣть ничего мудренаго: художникъ врядъ ли смогъ на первыхъ же порахъ разобраться въ нахлынувшихъ на него впечатлѣніяхъ и онъ называетъ тѣхъ, кто быль извѣстенъ ему еще до Эрмитажа. Такое невѣрное опредѣленіе своихъ впечатлѣній бываетъ сплошь и рядомъ. Обратитесь къ какому нибудь провинциальному художнику, впервые попавшему въ Эрмитажъ, онъ назоветъ вамъ, какъ наиболѣе его прельстившія, громкія сей-часъ имена, ну, хотя бы Веласкеза или даже Пуссена; однако, если вы проѣдите эти слова на дѣйствительныхъ отголоскахъ эрмитажныхъ впечатлѣній въ новыхъ произведеніяхъ этого провинциала, то очень возможно, что вы увидите вмѣсто Веласкеза—Мурильо, а вмѣсто Пуссена—Греза. Я зналъ художника, который категорически утверждалъ, что въ Эрмитажѣ онъ смотрѣть исключительно Рембрандта, на самомъ же дѣлѣ быль подъ сильнѣйшимъ гипнозомъ картинъ Снейдерса. То же произошло, на мой взглядъ, и съ Федотовымъ; онъ произнесъ модное имя, однако глазами то запомнилъ совсѣмъ не его, совсѣмъ иного строя вдохновеніе и мастерство прельстили нашего художника.

Прежде всего укажемъ, что, начавъ съ проникнутаго насквозь отнюдь еще не эрмитажными, а отечественными вліяніями „Сватовства маюра“, съ каждымъ новымъ произведеніемъ, вплоть до „У постели“ и „Вдовушки“, художникъ все ярче и



П. А. Федотов. «Разборчивая невеста» (1860).
(Собр. Н. С. Островского, в Москве).

P. Fedotov's 'La fiancée difficile'. (Collection
Ostrovskoy, Moscow).

безусловиѣе проникается эрмитажными вѣяніями. Усиленіе и углубленіе жизненной зоркости Федотова шло отнюдь не въ ущербъ его проникновенію въ достоинства эрмитажныхъ мастеровъ и увлечению ими; напротивъ, одно превосходно дополняло и облегчало другое. Даѣе, эрмитажные вѣянія не были у Федотова беспорядочны и случайны; онъ не воспринимаетъ равно любовно мастеровъ, различныхъ между собой и по техникѣ и по духовному укладу, какъ хотя бы Терборха и Остаде или (какъ это думалъ одинъ изъ биографовъ Федотова, Лидерихъ) Броувера и Доу; иѣтъ, такъ какъ влечения Федотова были вполнѣ искренни и отвѣчали всему существу его внутренняго строя, то его выборъ не грѣшилъ противорѣчіями, и рядъ полюбившихся ему мастеровъ вполнѣ послѣдователенъ. Изъ наиболѣе запечатлѣвшихся въ мозгу художника эрмитажныхъ мастеровъ мы назовемъ прежде всего тѣхъ, которые отразились не только въ живописи его произведеній, но даже въ ихъ композиціи. И такимъ, какъ одинъ изъ первыхъ, вполнѣ отчетливо отраженныхъ въ замыслахъ Федотова, окажется даже и не голландецъ, а французъ, Фрагонаръ. Самую суть прельстившихъ его произведеній, ихъ живопись, пожалуй, на первыхъ порахъ еще и не въ силахъ позаимствовать Федотовъ; онъ береть только прорись, только композицію любимыхъ мастеровъ, и вотъ въ сепіи „Бѣдный художникъ“ мы видимъ своеобразный перепѣвъ „Поцѣляя украдкой“. Поза купчика и соблазняемой имъ дѣвушки—это точная копія удачной композиціи Фрагонара. На этомъ же примѣрѣ намъ слѣдуетъ замѣтить, какъ несуразно, почти некстати, во всякомъ случаѣ совсѣмъ съ иными намѣреніями и для иныхъ цѣлей, использовалъ Федотовъ запомнившіяся ему композиціи. И тогда намъ не покажется страннымъ и случайнымъ совпаденіе композицій „Утра“ Франца Міериса¹ и „Офицера съ денщикомъ“ Федотова. Это новый примѣръ своеобразнаго и неожиданнаго перепѣва художникомъ полюбившейся ему эрмитажной картины. Такъ же близко родственными по типу и по замыслу мы найдемъ „Нимфу“ Доу и „Упостели“ Федотова. Наконецъ, рѣшительной копіей и столь близкой, что повторена вся поза цѣликомъ, изгибъ и грустное склоненіе головы, безпомощно откинутая правая рука и лѣвая, бережно прикрывающая животъ, характерное движеніе беременной женщины, слѣдуетъ назвать „Вдовушку“ Федотова и ея образцомъ—продавщицу въ „Лавкѣ“ Ланкре.

Итакъ, перечисляя эрмитажныхъ мастеровъ, вліявшихъ на самую композицію Федотовскихъ произведеній, намъ придется назвать: изъ голландцевъ—Метсю и Доу, а изъ французовъ—Ланкре и Фрагонара. Однако, „Завтракъ аристократа“, съ его блескомъ и тщательной выпиской халата, несомнѣнного живописнаго центра всей

¹ Эта картина въ подписи подъ снимкомъ ошибочно приписана Метсю, но мы воспользуемся данной ошибкой, чтобы сохранить Метсю въ нашемъ спискѣ эрмитажныхъ учителей Федотова, какъ несомнѣнно и въ гораздо большей степени вліявшаго на нашего художника, чѣмъ случайно запечатлѣвшійся Францъ Міерисъ.

композиції, настойчиво заставляющаго вспоминать о Терборхѣ, даетъ намъ еще одно имя, которое только подчеркиваетъ всю логичную послѣдовательность, характерную опредѣленность подбора Федотовымъ любимыхъ мастеровъ. Это задушевные, на первый взглядъ незамѣтные и тихіе, голландскіе мастера, находившіе достаточными для смысла цѣлой картины какой нибудь кусокъ дорогой матеріи, какой либо полюбившійся поворотъ женской головы. Это именно тѣ мастера, отъ которыхъ многое позаимствовалъ, переиначивъ на новый ладъ, Ланкре, сгустивъ чувственную грацію и сентиментальный уклонъ, чтобы даље, въ Фрагонарѣ, эти новыя черты пріобрѣли еще большую силу, даже чрезмѣриность. Застигивая и неуклюжая чувственность Доу заѣсь, въ Фрагонарѣ, восплеменѣла весело и откровенно. Впрочемъ, Федотовъ болѣе вглядывался въ первоначальные источи, его „Дѣвушка у постели“ является отзвукомъ непрямой и робкой, но тѣмъ болѣе, пожалуй, прямой и даже острой, чувственной мечты Доу, которая оказалась родственной интимнымъ мечтамъ Федотова. Въ Федотовѣ иѣть и слѣда Остаде, но потому иѣть и Ватто, совершенно иѣть причудливаго и веселаго, до кошмарности, Тенирса, но зато, я чуть не сказала, иѣть и Хогарта, но такъ я забѣжалъ бы впередъ.

Итакъ, на мой взглядъ, всѣхъ ближе къ правдѣ былъ Стасовъ, когда говорилъ, что Федотовъ голландцевъ не зналъ. Конечно, Федотовъ не зналъ и не любилъ голландцевъ, воспитателей деревенскихъ попоекъ, бродягъ и ножевщины, о которыхъ прежде всего думаемъ мы, когда говоримъ обѣ этой школѣ; онъ любилъ и изучалъ въ ростепеныхъ, иѣсколько ремесленныхъ, однообразно-ровныхъ и недалекихъ пѣвцовъ домашняго уюта. Федотовъ учился у нихъ; эта әрмитажная родословная художника первая для насъ достовѣрная черта художественнаго вкуса и внутренняго облика изучаемаго нами мастера,—пусть этотъ обликъ складывается не такимъ, какимъ хотѣлось бы видѣть его и мнѣ и другимъ, пусть онъ обозначится болѣе скромнымъ... Вѣдь мы условились вести изслѣдованіе до возможнаго для насъ предѣла, не боясь окончательныхъ выводовъ, и не обязались воздвигнуть непремѣнно новую тріумфальную арку.

Отъ Хогарта къ Гаварии

Стасовъ утверждалъ, что Федотовъ „Хогарта игнорировалъ и даже очень не любилъ“, однако современники художника указываютъ намъ, что издание гравюръ Хогарта всегда лежало на столѣ Федотова (преподнесенное ему, по словамъ Л. М. Жемчужникова, писательницей гр. Е. П. Раствориной), и всѣ изслѣдователи, основываясь на близости федотовскихъ сепій къ темамъ англійскаго сатирика, согласно твердили намъ о чрезмѣриномъ и губительномъ вліяніи Хогарта на русскаго его подражателя. Итакъ передъ нами знакомая и утомительная мозаика мѣнній,— мѣнній, которая мы почти что затвердили, но которая не можемъ ни

опровергнуть, ни доказать, такъ какъ они произносились по наитію, ,просто такъ... Но что, если Стасовъ правъ, что если вся бѣда Федотова не въ томъ, что онъ увлекался Хогартомъ, а въ томъ, что онъ не смогъ ни понять, ни полюбить этого превосходнаго мастера?

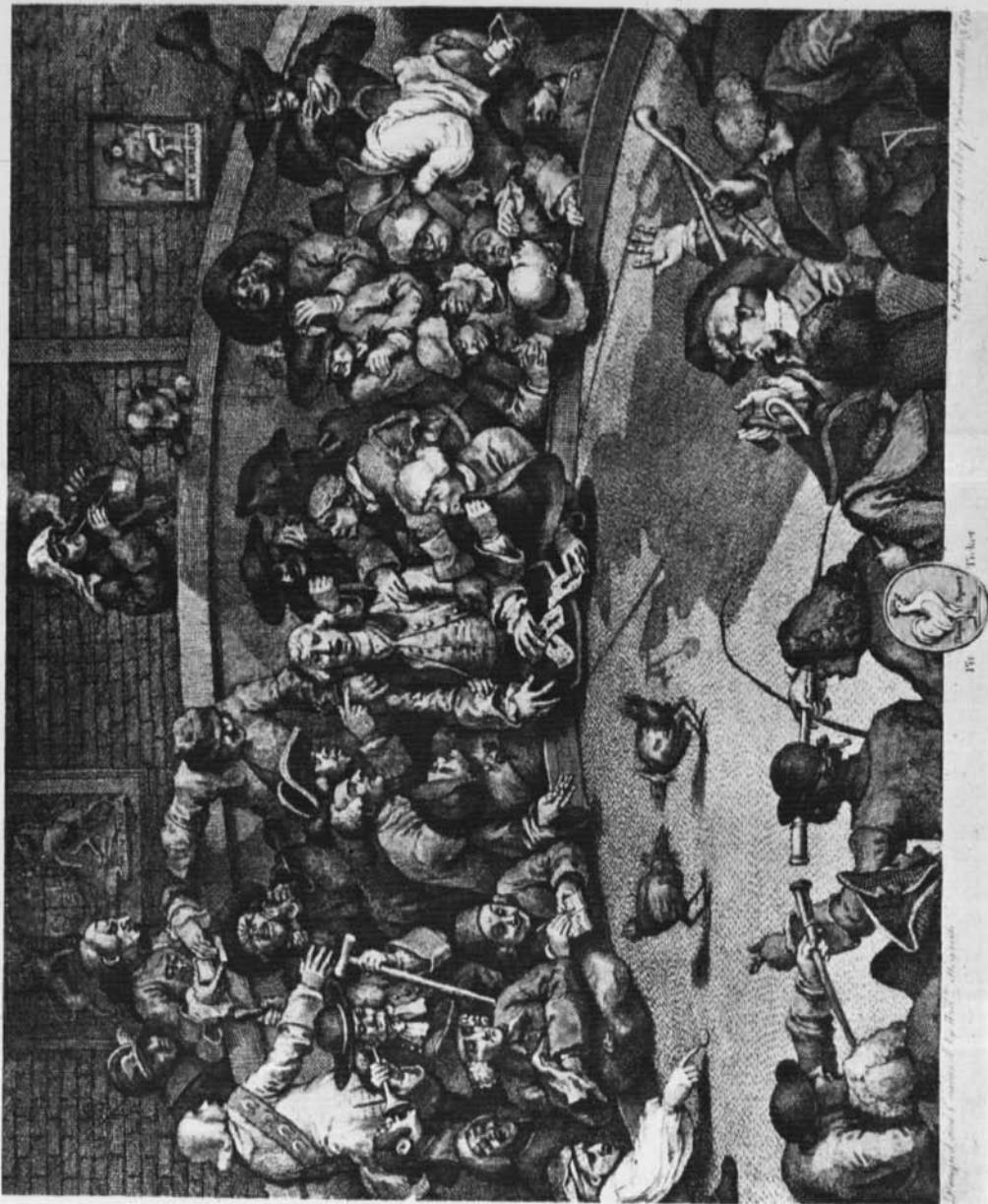
Укажемъ, прежде всего, что увлеченіе Хогартомъ отнюдь не является выборомъ личнаго вкуса Федотова, но было продиктовано модой еще въ большей степени, чѣмъ указаніе на Тенирса, какъ на своего эрмитажнаго любимца. Попытки сдѣлать Хогарта достояніемъ широкихъ круговъ русскаго общества начались очень рано; такъ, въ 1808 году, *Вѣстникъ Европы*⁴ далъ нѣсколько хогартовскихъ гравюръ, вмѣстѣ съ коментаріями, переведенными съ нѣмецкаго Жуковскимъ. *Живописное Обозрѣніе*⁵, затѣянное въ 1838 году, сулило, какъ одну изъ самыхъ заманчивыхъ частей своей программы, что „злой насмѣшникъ Хогартъ разсмѣшилъ насть карикатурой“.

И мы понимаемъ, чѣмъ этотъ „злой насмѣшникъ“ неотразимо привлекалъ къ себѣ тогдашняго зрителя. Вотъ передъ нами *Сокрѣтъ*, одна изъ характернѣйшихъ работъ Хогарта и одна изъ первыхъ, которую выдало, какъ лучшую свою премию русскому читателю, *Живописное Обозрѣніе*⁶. Посмотрите, какая смѣсь лицъ, званій, страстей, положеній! Въ центрѣ, портретъ одного знатнаго и богатаго человѣка, современника Хогарта, который ослѣпъ, но не отсталъ отъ любимой забавы... глухой старикъ прислушивается, какъ кричать ему во все горло въ слуховой рожокъ, онъ почти ничего не видитъ, не слышитъ, едва движется, а страсть его непобѣдима и привела его сюда... ремесленникъ ставитъ свой послѣдній шиллингъ; сосѣдъ его хохочетъ дурацкимъ смѣхомъ; тоска и горесть на лицѣ третьаго; четвертый спѣшитъ записать заклады; два мошенника, одинъ крадеть билеты изъ шляпы слѣпого, другой лѣзть къ нему въ карманъ; за ними фигура въ безмолвномъ изумлѣніи, другая въ какомъ то сладостномъ восторгѣ...⁷ (Изъ коментарія *Живописнаго Обозрѣнія*⁸). Итакъ, вся эта причудливая, запутанная въ своемъ движеніи, во всплескахъ рукъ и пестротѣ лицъ сцена могла быть въ точности расшифрована лишь знатокомъ-толкователемъ, но это только еще болѣе останавливало зрителя, заставляло его еще болѣе смѣяться или еще болѣе призадуматься. Зрителю такая сцена казалась и сколкомъ съ жизни, и захватывающей повѣстью, и назидательнымъ поученіемъ, и шуткой; однимъ словомъ, Хогарту удалось превосходнѣйшимъ образомъ удовлетворить ту самую извѣчную жажду зрителя, которую нынѣ утоляетъ кинематографъ.

Однако въ Хогартѣ находилъ себѣ источникъ наслажденія не только безхитростный зритель, но и искушенный художникъ, и для него Хогартъ долженъ былъ предстать обильнымъ кладомъ. Дѣйствительно, этотъ англійскій мастеръ явился живитворнымъ первомъ, который, вобравъ въ себя прекрасныя достижениія Фландріи и Голландіи, въ свою очередь оплодотворилъ безчисленное количество европейскихъ художниковъ начала XIX вѣка, а затѣмъ и нашихъ ,передвижниковъ⁹. На

только что упомянутомъ „Пѣтушиномъ боѣ“ какъ бы получила свое дальнѣйшее развитіе та причудливая „кутерьма“ композиціи, которую такъ любилъ Тенирсъ; парень съ нахлобученій на лобъ шапкой, перелѣзшій черезъ заборъ и правой рукой схватившій за плечо слѣпого игрока, кажется сошедшімъ съ какой либо фланандской „пирушки“; однако злая гримаса, судорожная ужимка нѣкоторыхъ лицъ и позъ вдругъ, неожиданно, заставляютъ вспоминать... Гойю. И Гойю мы вспомнимъ не однажды; сумасшедшій въ заключительной сценѣ „Жизни кутили“ столь упорно наталкиваетъ насъ на мысль о испанскомъ мастерѣ, что хочется спросить: да не перебиралъ ли Гойя хогартовскія гравюры, прежде чѣмъ приняться за свои „Capriccios“? Изъ Фландріи позаимствовалъ Хогартъ страсть къ чудачествамъ, любовь къ пестрому нагроможденію часто вовсе не подходящихъ къ сюжету деталей; и оттуда же вышла, но ставшая еще болѣе острой и неудержимой, какъ бы возвратившейся къ своимъ отдаленнымъ предкамъ, Иерониму Босху и Шонгауеру, манера переплетать добронравную мораль съ дикой фантазіей. Переплетеніе это столь просто, прямо и сильно, что грань между правдой и вымысломъ кажется окончательно стертой; въ указанномъ смыслѣ особенно характерной представляется серія „Избирательная кампанія“, гдѣ въ чудовищной суматохѣ „шире“ одни бѣшено ликуютъ, другіе швыряютъ и убиваютъ кирпичами, треты лѣчатъ расколотый черепъ, вливая въ него чернила. Мораль—это скорѣй только „выѣска“, но не натура Хогарта; онъ морализовалъ съ такой страстью фантастичностю, что заставилъ насъ вспомнить Босхъ, и кистью такой первой и острой, что заставилъ насъ вспомнить Хальса... Однако Федотовъ увидѣлъ въ англійскомъ мастерѣ только мораль; онъ не вникъ въ него глубже, чѣмъ средній тогдашній россійскій цѣнитель Хогарта.

Зато у себя на родинѣ Хогартъ привлекъ умы и серда не только „кинематографическими“ пріемами композицій; онъ—начало того мастерства, которымъ блеснули Рейнольдсъ и Гейнсборо; наконецъ, избранная тема Бирдслея, чортъ, завивающій передъ зеркаломъ дѣвушку, является любопытнымъ развитіемъ детали IV сцены „Моднаго брака“, гдѣ странный, чертовски странный парикмахеръ, бѣдный и острый, съ язвительной и сладострастной усмѣшкой колдуетъ надъ буклями истомленной скучной дамы. Конечно, чтобы такъ понять и отразить Хогарта, надо было пропитаться самой той наслѣдственной и высокой культурой, которая родила Хогарта, чего никакъ не могъ сдѣлать Федотовъ, и вотъ онъ береть только самое простое, грубо и рѣзко бросающееся въ глаза, тенденціозность Хогарта. „Русскій Хогартъ“ вышелъ куда болѣе смѣгченнымъ, сентиментальнымъ и однообразнымъ. Жесткая и прямая по своему реализму повѣсть англичанина „Жизнь проститутки“ подъ руками русскаго превратилась въ унылую и обычную исторію красивой, но бѣдной швеи. Злая сатира на пишаго поэта измѣнилась въ соболѣзвованіе запутавшемуся въ долгахъ художнику, причемъ въ художникѣ Федотовъ изображаетъ самого себя. Изобрѣтательность Федотова сравнительно съ Хогартомъ очень



N. Iosapovs. 'Esiū nomykoss' (printopaj).

W. Hogarth. 'Combat de coqs' (gravure).

* Printed and sold by J. Johnson, 3, Gt. Queen-street, W.C.



Engraved Engraved & Published Dec. 1746 by W. Hogarth Pursuant to an Act of Parliament.

Price two Shillings & Sixpence

У. Гогартъ. „До“ (гравюра).

W. Hogarth. „Avant“ (gravure).

скудна; онъ подмѣтаетъ, но не бичуетъ, онъ жалѣтъ, но не злится... Сквозь намѣренную коверканость и темноту рисунка—подражаніе „гравюре“ Хогарта—вдругъ мы улавливаемъ звукъ прелестнаго „Поцѣлуя украдкой“; вдругъ мы видимъ, что художникъ задумался совсѣмъ не надъ своей главной темой, заимствованной у Хогарта, и въ „Смерти Фидельки“ дарить наѣзъ превосходнымъ автопортретомъ или что онъ слишкомъ любовно, въ разрѣзъ съ небрежной схематичностью остальной композиціи, выписываетъ складки женского платья, точно поверхъ надобившаго Хогарта ему внезапно вспомнились великолѣпныя складки въ эрмитажномъ „Письмѣ“ Терборха.

Да, Хогарта Федотовъ „игнорировалъ“, но иначе и быть не могло. Вѣдь отъ Хогарта Федотовъ перешелъ къ Гаварни; между тѣмъ, заразись онъ хоть сколько нибудь чертовщиной и фантастикой англійского моралиста, онъ могъ бы перейти тогда къ кому угодно, кромѣ яснаго, веселаго, изысканнаго Гаварни, прежде же всего къ Домье. Могъ же Шмельковъ, современникъ Федотова (род. 1819 г.), черпать свое „мастерство“ у этого прекраснѣйшаго французскаго художника; значить, онъ былъ тогда такъ же хорошо уже известенъ въ Россіи, правда, далеко не такъ прославленъ, какъ Гаварни. Многія изъ раннихъ работъ Домье ясно говорятъ намъ, что онъ учился у тѣхъ же мастеровъ, у которыхъ учился Хогартъ, у тѣхъ же Броувера, Остаде и Тенирса; однако ни Домье, ни Хогартъ, въ этой части своего дарованія, совершенно не затронули Федотова... и послѣ того наѣзъ хотять увѣрить, что въ Эрмитажѣ Федотовъ учился у Остаде и Тенирса!

Историческое объясненіе, почему Федотовъ отъ Хогарта перешелъ къ Гаварни, очень просто: то же самое, которое намъ объяснило переходъ его отъ Зауервейда къ Хогарту,—мода. „Живописное Обозрѣніе“ 1838 года взяло себѣ въ образецъ англійскій журналъ „Penny Magazine“ и насаждало въ Россіи Хогарта; какъ разъ въ эти годы запала Федотову мысль стать „русскимъ Хогартомъ“. Въ 1845 году возникаетъ „Иллюстрація“, которая усиленно подражаетъ уже французскому журналу „Charivari“, и рисунки или перепѣвы рисунковъ Гаварни занимаютъ всѣ номера. Увлеченіе Гаварни, какъ бѣдствіе, исковеркало пути лучшихъ нашихъ тогдашнихъ рисовальщиковъ. Ачинъ забываетъ весь добытый ранѣе опытъ и мечтаетъ придать своей иглѣ „шикъ“ парижскаго виртуоза. Такой серьезный мастеръ, какъ Тиммъ, безвозвратно погибаетъ въ безмысличныхъ копіяхъ съ Гаварни. И въ эти же самые годы Федотовъ пытается новую судьбу—русскаго Гаварни. То былъ періодъ, когда Федотовъ, забывъ о путаныхъ измышленіяхъ своихъ сепій (гдѣ онъ тушью подражалъ рѣзкимъ и чернымъ гравюрамъ англійскаго мастера), даетъ рядъ тонко прорисованныхъ набросковъ (подражанія свинцовыми карандашами изысканнымъ и четкимъ ударамъ иглы французскаго мастера), композицій крайне не сложныхъ, изъ двухъ-трехъ фигуръ, но зато съ длинными подписями, приемъ какъ разъ обратный хогартовскому, но являющейся рабской копіей манеры Гаварни.

Только Гаварни объясняетъ намъ федотовскую сценку „Извозчикъ и квартальный“, гдѣ изысканно-нѣжный рисунокъ, томная, даже женственная поза парня такъ не вижется съ нашимъ представлениемъ о „русскомъ извозчикѣ“; здѣсь забавный опытъ пересажденія на отечественную почву парижской граціи Гаварни. Причемъ слѣдуетъ отмѣтить, что типъ квартального опредѣленію навѣянъ агинскими иллюстраціями къ „Мертвымъ душамъ“; это наводитъ насъ на мысль, что Федотовъ заимствовалъ свой новый стиль не только непосредственно у Гаварни, черезъ тогдашніе французскіе и russkіе журналы, но и косвенно, черезъ отображенія Гаварни въ рисункахъ хотя бы Агина, а такъ же Тимма.

Однако было ли это „ученіе“ добровольнымъ и отвѣчающимъ внутреннему влечению художника? Примѣръ Зауервейда, примѣръ Хогарта уже пріучили насъ быть осторожными съ увлечениями Федотова. И, пожалуй, одну только послѣдовательность мы можемъ наблюсти въ этихъ непослѣдовательностяхъ Федотова: онъ, какъ истый провинціалъ въ искусствѣ, искренно и постоянно трепеталъ передъ требованіями дня, передъ „модой“, преступить которую ему казалось почти смертнымъ грѣхомъ. Такъ истолковавъ Федотова, мы болѣе ощущимъ всю внутреннюю правду и силу возраженій художника на просьбы и совѣты его друзей отдохнуть: „Свѣтъ сердится, когда отъ него отдалляешься, а я не намѣренъ сориться со свѣтомъ...“ Но вниманіе „свѣта“ прыгало съ одного художника на другого; ищи его послѣдовательности! Федотовъ ея и не искалъ, а тоже „прыгалъ“...

Но подъ этими „прыганіемъ“, боязию бѣдняка, что „свѣтъ“ лишить его своихъ милостей, ростъ и крѣпкій цѣльный и живой мастеръ; это внутреннее художественное развитіе должно было сплести въ пѣкую послѣдовательность „прыжки“ Федотова, и, конечно, не искать этой живой связи значить не искать и не видѣть самого „Федотова“. Вирочемъ, вопросъ обѣ ющей связи творчества художника еще впереди, здѣсь же мы обратимъ вниманіе на то, чому въ особенности учился у Гаварни Федотовъ; такое наблюденіе намъ навѣрно дастъ новую черту художественного облика Федотова, такъ какъ, изучая въ чемъ и какъ и сказалъ Гаварни Федотовъ, мы, тѣмъ самымъ, приблизимся къ „неискаженному“ Федотову.

Сравнимъ для этого „Неосторожную невѣсту“ Федотова съ „Портретомъ кредитора“ Гаварни и обратимъ вниманіе, главнымъ образомъ, на линію спины и платья лѣвушки въ той и другой композиціи. Мы увидимъ у Гаварни почти цѣльную линію отъ локтя лѣваго плеча до подола, съ плавнымъ и мягкимъ изгибомъ; конечно, въ ней ключъ ко граціи всей композиціи, именно она поражаетъ насъ одновременно и простотой, и прелестью. Въ федотовскомъ рисункѣ эта линія повторяется вновь, причемъ изгибы спины вторить изгибы линіи подушки и линіи платья; указанный изгибъ Федотовъ пробуетъ какъ бы возвести въ цѣльную систему, въ него онъ всматривается постоянно и настойчиво и повторяетъ не однажды въ другихъ рисункахъ, какъ будто именно въ этой тонкой и прѣвучей линіи нашелъ, наконецъ, Федотовъ свой истинный вкусъ и подлинную задачу...



Гаварни. Рисунок.

Gavarni. Dessin.

Действительно, у Гаварни такая линия отнюдь не навязчива, кажется лишь не-принужденнымъ отблескомъ прирожденного вкуса, художникъ какъ будто и не замѣчалъ ея и не слѣдилъ за неей, хотя именно она даетъ работамъ Гаварни по-стоянно одинъ и тотъ же отблескъ привлекательной мягкости. А у Федотова та же линія кажется открытымъ, случайнымъ и спутавшимъ весь прежний ходъ мыслей художника: онъ ухватился за нее, какъ за волшебную нить, которая приведетъ

его, наконецъ, къ цѣли, онъ робко и настойчиво повторяетъ ее теперь повсюду, точно это талисманъ, который долженъ спасти его отъ всѣхъ заблужденій и бѣдъ. Но, въ самомъ дѣлѣ, почему бы не могло случиться такъ, какъ вообразилъ Федотовъ? Почему онъ не могъ, действительно, набрести случайно, въ робкихъ подражаніяхъ залетной модѣ, на подлинное влечение своего дарованія, вдругъ найти тотъ стержень, который оправдалъ бы всѣ его прежніе ошибки и опыты и вокругъ котораго сплотились бы теперь новые поиски художника?

,Вдовушка⁴

Не слѣдуетъ удивляться вдругъ проявившемуся упорному вниманию Федотова именно къ линии рисунковъ Гаварни, такъ какъ здѣсь почва была хорошо и издавна приготовлена. Обратимъ внимание на карандашные наброски Брюллова, хотя бы на рисунокъ оленей,¹—какъ линія въ нихъ иѣжна и вмѣстѣ точна, изгибъ ея строенъ и плавенъ! Въ наброскахъ турчанокъ (къ „Бахчисарайскому фонтану“) одна линія непрерывныи и тонкыи изгибомъ начинается съ головы и обрывается лишь на пальцахъ полной женской руки. Вѣдь это та же или почти та же линія, которую вырисовывалъ съ такимъ чувственнымъ изощреніемъ и мастерской тонкостью Гаварни въ своихъ дѣвичьихъ бюстахъ и обнаженныхъ рукахъ. Замѣтимъ, кстати, что творчеству Хогарта была совершенно чужда эта пѣннительная текучесть линіи; такъ, напримѣръ, въ сценѣ „До“, гдѣ и Брюлловъ, и Федотовъ, и Гаварни не преминули бы въ тысячный разъ воспѣть зачарованную ихъ линію, Хогартъ обозначаетъ и бюсть, и руки, и поворотъ женской шеи линіями острыми и разорванными (не здѣсь ли одна изъ главнѣйшихъ причинъ, почему Хогарта Федотовъ „игнорировалъ“?) Между тѣмъ какъ въ творчествѣ и Метсю, и Терь-Борха, и Фрагонара, и въ особенности Ланкре мы видимъ зачарованность той же пѣвучей линіей женской шеи и плечъ, и, наконецъ, все эта же линія—первая задача, надъ которой долго думалъ и работалъ Федотовъ въ первыхъ же своихъ значительныхъ произведеніяхъ.

Что это такъ, доказываютъ варианты Русского и Румянцовскаго музеевъ „Сватовства маюра“. Надо отмѣтить, что Федотовъ, копируя, очень свободно мѣнялъ детали, такъ что получались скорѣе не копіи, а близкіе одинъ къ другому варианты, причемъ въ вариантахъ позднѣйшихъ перерабатывалось и подчеркивалось наиболѣе дорогое для художника, а маловажное опускалось. Такъ, въ вариантѣ Русского музея измѣнена вся обстановка „Сватовства маюра“; она стала куда скромнѣе; снята съ потолка пышная люстра, сведена почти на нѣть плафонная роспись, упрощены рисунокъ паркета; зато котъ, передняя плана, сталь болѣе пышнымъ и написанъ

¹ Русский Музей Императора Александра III, № 5275.

болѣе смѣло, зато прибавилась очень хорошая деталь,—фламандски⁴ утрированный профиль лица слуги съ выпяченными губами и выпученными глазами у двери слѣва (въ варіантѣ Румянцевскаго музея спрятанный за головой служанки, приглашающей къ столу) и, наконецъ, что въ особенности интересуетъ насъ въ данномъ случаѣ, иѣсколько измѣненъ изгибъ оголенныхъ плечъ и прорись лица „невѣсты“. Съ несомнѣнныемъ любованиемъ, художникъ запрокидываетъ тонкую голову еще напряженѣй, еще круче, онъ какъ бы обтачиваетъ каждую черту лица, шеи и приподнятыхъ плечъ, онъ, какъ будто забывшись, дѣлаетъ черезчуръ тонкимъ и прелестнымъ линію профиля, ранѣе простоватаго и глуповатаго, черезчуръ стройной и хрупкой шею, раньше припухлую и крѣпкую, вся прорись бюста какъ бы сковывается, становится слишкомъ изысканной и, пожалуй, аbstрактной для темы картины. Конечно, художникъ здѣсь увлекся, онъ неосторожно задумался надъ особенно ему дорогимъ и завѣтнымъ, въ ущербъ общему замыслу „Сватовства“.

Однако, этотъ „ущербъ“ съ годами выявлялся все настойчивѣй, чтобы, наконецъ, заполнить совершенно мысль художника; онъ все опредѣленѣе дѣлался „однолюбомъ“, поглощеннымъ настойчивой мечтой о какой то особенно стройной, вычурно-острой и прекрасной до абстракціи линіи женской головы. Такъ, онъ задумывается „Возвращеніе институтки въ родной домъ“,—тема весьма удачная съ передвижнической точки зрѣнія; это былъ бы превосходный панданъ къ первовскому „Прѣзду гувернантки“; недаромъ Сомовъ, разсказывая про свой замыселъ, воскликнулъ: „Это ли не сюжетъ, способный увлечь всякаго живописца?“ Однако Федотовъ вскорѣ же мѣняетъ данный сюжетъ ради иного, почти безсюжетнаго,—„Институтки“, но зато въ которомъ онъ могъ бы всецѣло отдаваться своему исключительному пристрастію. „Институтки“ стали любимѣйшей темой художника, которую онъ бережно вынашивалъ, къ которой онъ исподволь подкапливалъ материалы; да

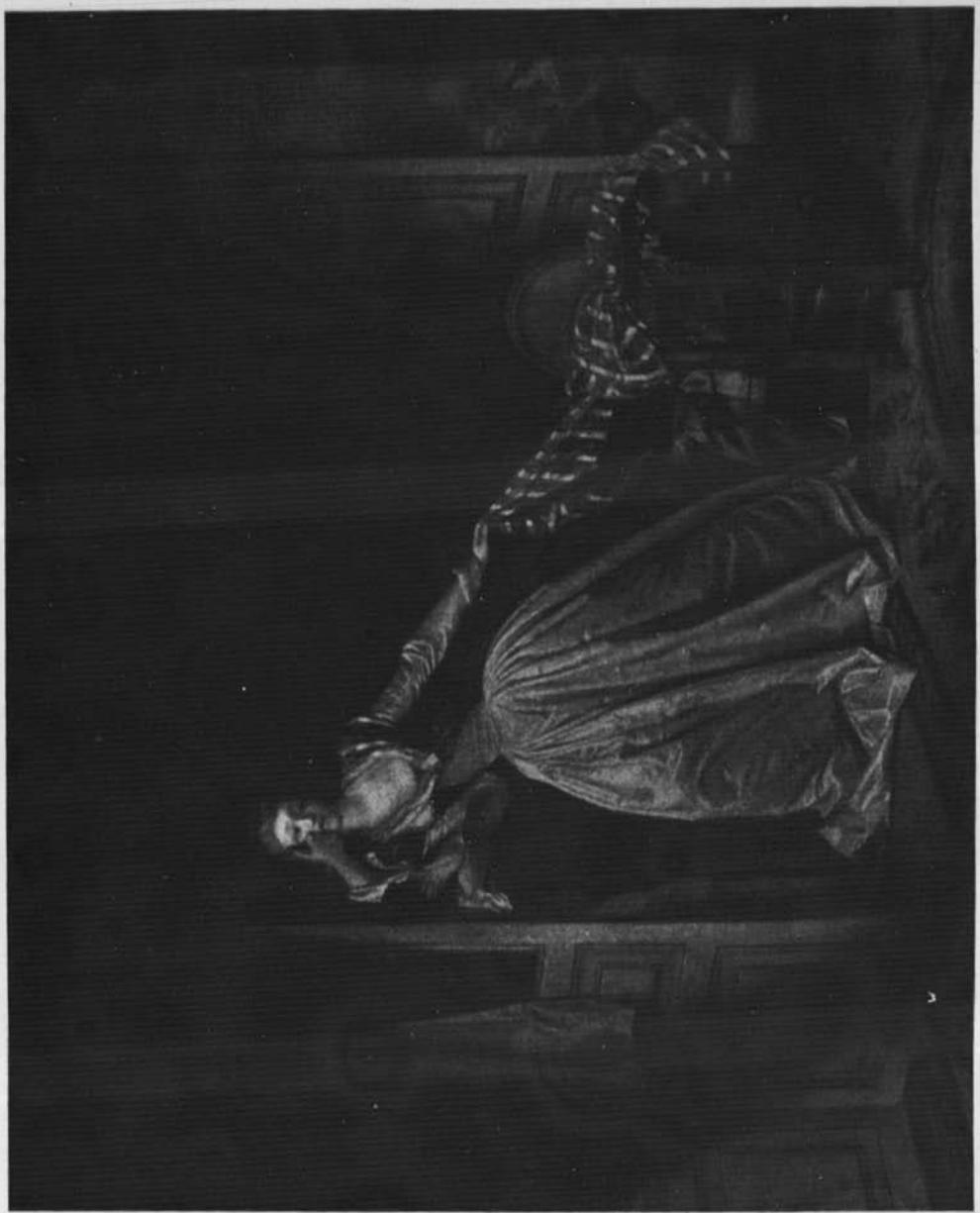
К. Брюлловъ.
Рисунокъ.C. Brulloff.
Dessin.

эти материалы, въ сущности, уже очень давно у него подкапливались; достаточно пересмотрѣть его наброски, его маленькие портреты масломъ либо акварелью; вспомнимъ его институтку у клавесина, написанную съ исключительнымъ трепетомъ, или эту дѣвушку въ креслахъ (см. стр. 6), съ радужными, смѣлыми блѣками свѣта на лицѣ, рѣдкой для Федотова силы, или, наконецъ, эту дѣвочку съ лучистыми глазами (см. стр. 5),—все это были крохи, жадно подбираемыя Федотовымъ повсюду и всегда, все это были отдельные черты, изъ которыхъ художникъ мечталъ построить свой завѣтный трудъ,—Институтки¹. Но робѣя приступить къ нему, онъ испытывалъ себя на отдельныхъ деталяхъ: такой „пробой“ представляется намъ „Вдовушка²“. И опять, какъ невѣста въ „Сватовствѣ маюра“, два варианта „Вдовушки“ даютъ намъ твердое представление о самомъ пути и внутреннемъ смыслѣ этого произведения. Лицо „Вдовушки“ варианта Румянцевскаго музея, совершенно такъ же, какъ лицо въ первомъ варианте „невѣсты“, еще очень земное, житейски обыденное и передвижнически мелкое: слабая съ некрасивымъ изгибомъ шея вполнѣ соответствуетъ мягкому и неправильному профилю. Тогда какъ въ варианте Русскаго музея мы видимъ шею сильную, странно-блѣлую и стройно-удлиненную, голову, почти до неправдоподобія уменьшенную, почти невѣрную по пропорціи, съ необычайно четкой прорисью слишкомъ прекраснаго лица; скорѣй передъ нами одинъ изъ тѣхъ архангеловъ, которыхъ создавала горячая вѣра древняго иконописца, чѣмъ земная женщина. Да ужъ не та ли это самая „невѣста“, которой заказалъ на послѣдніе гроши подарокъ Федотовъ въ послѣдніе часы своей сознательной жизни? Что то ужъ слишкомъ это лицо отвлечено и прекрасно какъ то „по невзаправдашнему“, слишкомъ осѣпительнымъ и фантастическимъ пятномъ горитъ оно въ зеленомъ сумракѣ фона... И зачѣмъ въ такой драматической вещи шутка,—въ портретѣ умершаго мужа-гусара мы узнаемъ Федотова? И вотъ еще что: запрокинемъ нѣсколько назадъ блѣдную голову „Вдовушки“, придалимъ ей больше жизненныхъ, плотскихъ красокъ, и мы получимъ... невѣсту въ „Сватовствѣ маюра“ варианта Русскаго музея.

Отмѣтимъ, вдѣбавокъ, еще одну любопытную черту; на измѣненіяхъ, внесенныхъ Федотовымъ и въ „Сватовство маюра“ и во „Вдовушку“, очень ясны слѣды предварительныхъ спрѣвокъ въ Эрмитажѣ. Такъ, въ „Сватовствѣ“ нововведеніемъ явилось „фламандское“ лицо слуги, такъ во „Вдовушкѣ“ положеніе рукъ оказалось совершенно перемѣненнымъ, и въ варианте Русскаго музея онѣ легли почти такъ, какъ лежать онѣ на картинѣ Ланкре „Лавка“.

Не случайно, на мой взглядъ, что измѣненія въ двухъ наиболѣе законченныхъ произведеніяхъ Федотовашли совершенно одинаковыми путемъ, не случайно, что переработанный женскій обликъ центральной фигуры того и другого произведенія оказался почти тождественнымъ...

Мы ищемъ „творчества“ Федотова, т. е. натуру, уже переработанную духомъ художника, и вотъ намъ кажется, что мы его находимъ, когда, забывъ о сюжетѣ,



Фрагонар. «Поціхування» (масло).
(Імператорський Ермітаж).

Fragonard. *Le baiser* (huile).
(Ermitage Impérial). **



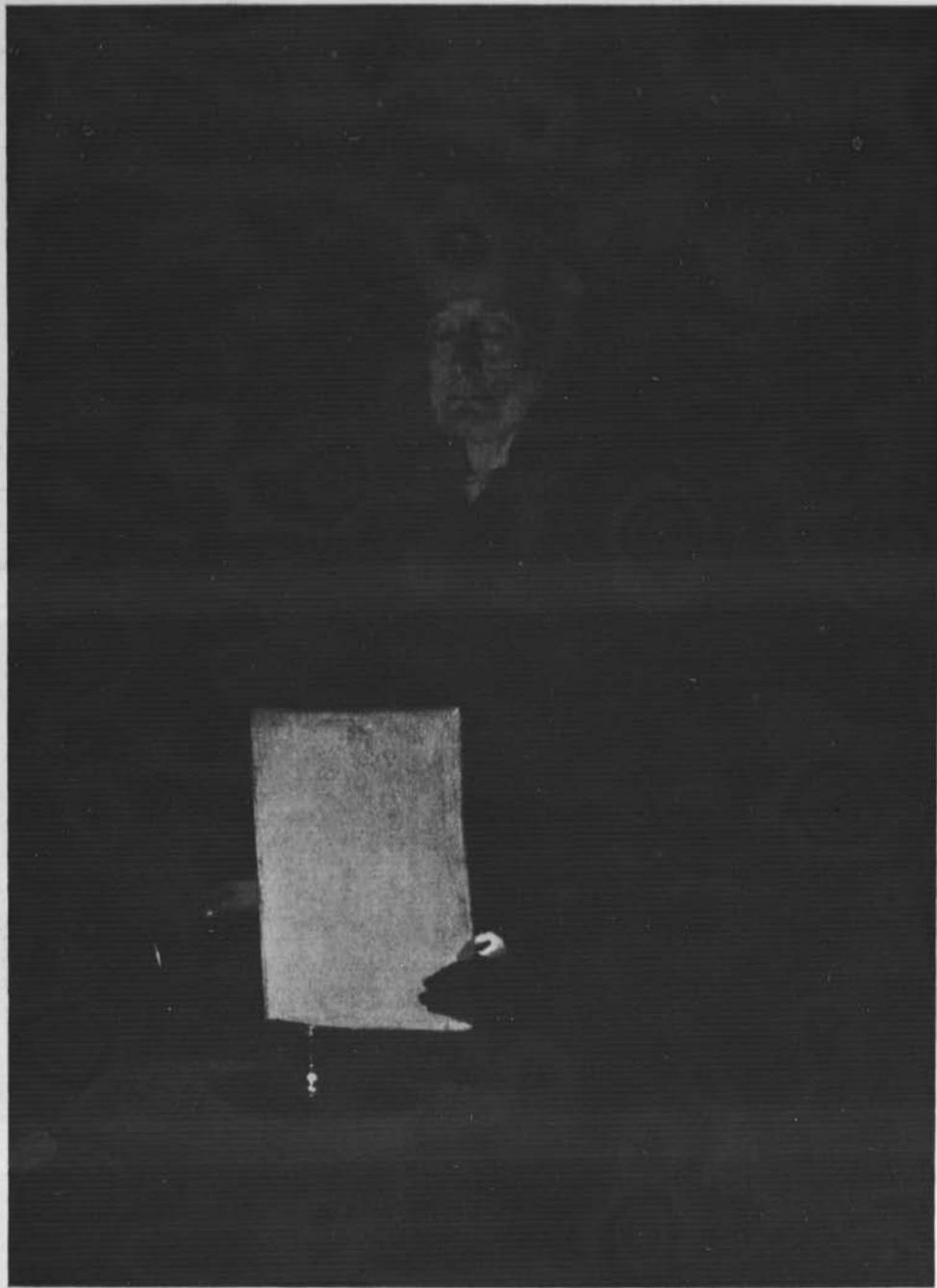
П. М. Шмелковъ. Рисунокъ. (Библиотека Академія
Художествъ).

P. Chmelkoff. Dessin. (Bibliothèque de l'Académie
des Beaux Arts).



Гаварни. „Портретъ кредитора“ (литография).

Gavarni. „Le portrait du créancier“ (lithographie).



П. А. Федотовъ. Портретъ Е. Г. Флуга (масло).
(Музей Имп. Александра III).

P. Fédotoff. Portrait de M. E. Flug(huile).
(Musée Alexandre III).

о ненужныхъ и назойливо-пестрыхъ окличностяхъ, мы всмотримся въ одно строеніе, стройное до фантастичности, головы вдовушки. Онъ здѣсь несомнѣнно преобразжалъ натуру, подчиняя ее себѣ, и не здѣсь ли та сущность духа художника, которую мы ищемъ? Странна судьба и путь Федотова; онъ зарисовывалъ Микеланджело (впрочемъ, мы догадываемся почему, — въ подражаніе своему кумиру Брюллову, который мнилъ себя соперникомъ великаго флорентійца и потому неразъ, вѣроятно, указывалъ Федотову на Микеланджело, какъ на образецъ) и въ то же время учился у Хогарта. Изображалъ изъ себя злого насмѣшика и гнѣвнаго моралиста, а въ то же время его влекло всей душой къ тихому и яспому Терборху. Онъ мечталъ оставить намъ, какъ свое лучшее воплощеніе, „Институтокъ“, а оставилъ „Офицера въ деревнѣ“, какъ егустокъ и итогъ судорожной борьбы, гдѣ какъ будто нарочно онъ смиль, исковеркалъ совершенно всѣ подходы къ той пѣвучей и гармоничной линіи, которую такъ любилъ и такъ искалъ всю жизнь...

Ш м е л ь к о въ

Федотовъ впервые открылъ глаза обществу на новую область искусства; Федотовъ прямой и единственный предтеча „передвижничества“,—нужно забыть эти двѣ, нами издавна затверженныя небылицы, и такъ же основательно, какъ основательно ихъ намъ внушали. Дѣйствительно, достаточно пустяшныхъ историческихъ справокъ, чтобы показать, что дѣло обстояло какъ разъ наоборотъ; что само общество, по крайней мѣрѣ тогдашніе газеты и журналы, упорно и давно толковали о цѣнистыхъ русскаго быта, жадно и съ восторгомъ принимали всѣ попытки его изображенія. Правда, что художники „настоящіе“, т. е. окончившіе Академію, чуждались сего низкаго жанра и стремились къ „высокимъ“ историческимъ темамъ, но зато они оставляли совершенно свободнымъ поле дѣйствія для „малыхъ“ художниковъ-самоучекъ, какъ Федотовъ, или еще слишкомъ робкихъ и молодыхъ, чтобы дерзать на „исторію“. Вѣриѣ будетъ сказать, что особенности интересовъ тогдашняго общества были таковы, что для „малыхъ“ художниковъ (а такимъ въ глазахъ „настоящихъ“ художниковъ несомнѣнно былъ Федотовъ) единственный вѣрный путь къ успѣху было обращеніе именно къ бытовымъ сюжетамъ. Обратимъ вниманіе хотя бы на то, какъ радостно были встрѣчены первыя выступленія Шедровскаго „Художественной Газетой“: „г. Шедровскій показалъ намъ прекрасныя попытки свои въ простонародномъ русскомъ родѣ; очень миленькия картинки; мы увѣрены, что дальнѣйшія усилія его увѣичаются болѣе важными успѣхами и для разнообразія произведеній нашей школы непремѣнно желаемъ видѣть скорѣе новые его опыты“. И это писалось въ 1838 году, т. е. ровно за десять лѣтъ до

,Сватовства маюра¹. Или вспомнимъ тотъ восторженный гулъ газетъ и журналовъ, какимъ встрѣчены были первыя выступленія Штернберга съ его малороссийскими ,шинками² и ,освященіями пасокъ³. И опять таки это было за нѣсколько лѣтъ до выступленія Федотова съ его ,бытомъ⁴. Итакъ, нельзѧ утверждать, что Федотовъ указалъ тогдашнему обществу на ,быть⁵; у публики уже былъ свой любимецъ въ этой области—Штенрбергъ, а альбомъ литографій Щедровскаго ,Вотъ наши!⁶ къ 1846 году уже успѣлъ разойтись въ двухъ изданіяхъ. Гдѣ же намъ говорить о какомъ то ,откровеніи⁷ Федотова!

Теперь разберемъ вопросъ о роли Федотова въ передвижническихъ судьбахъ. Несомнѣнно одно,—это, я думаю, нынѣ очевидно всякому,—что формѣ, самой ,рукѣ⁸, у Федотова не учился никто изъ передвижниковъ, а развѣ чѣму либо иному, кромѣ ,руки⁹, кромѣ ремесла, возможно и нужно учиться въ искусствѣ? Впрочемъ, за исключениемъ другого ,предтечи¹⁰ можно было бы оставить за Федотовымъ это званіе, хотя оно и очень помышдало бы нашему правильному пониманію художника. Но мы обязаны будемъ лишить Федотова этого имени, если есть другой дѣйствительный предтеча, а такой есть. Пусть наконецъ то ,колонновожатымъ передвижникомъ¹¹ будетъ названъ по справедливости тогъ, чьи рисунки были драгоценной ячейкой, изъ которой родилось все богатство и разнообразіе московской живописной школы (а вѣдь если исключить одного Крамского, мы не очень ошибемся, отождествивъ передвижниковъ съ москвичами). Я говорю про Шмелькова. Прежде всего, онъ учитель передвижниковъ фактически. За долгую и неустанный горѣвшую любовью къ искусству жизнь Шмелькова его совѣтами пользовались и у него учились такие мастера, какъ Перовъ, Пукиревъ, В. Маковскій, Прянишниковъ, Невревъ, Саврасовъ. Если же мы возьмемъ альбомы его рисунковъ, то изумимся. Да вѣдь здѣсь всѣ намеки, тутъ заложено, какъ драгоценная руда, все то, что потомъ выбиралось вѣрными учениками, очищалось, начинало горѣть своеобразнымъ блескомъ и мастерствомъ! (Говоря о передвижникахъ, должно употреблять слово ,мастерство¹², такъ какъ ,передвижничество¹³ есть вполнѣ опредѣлившая школа, имѣющая своего замѣчательного родоначальника и рядъ видныхъ мастеровъ). Я не буду говорить о такихъ, какъ Пукиревъ или Перовъ, они являются такими же кровными сыновьями Шмелькова, какъ Вань-Дейкъ Рубенса или Тирановъ Венецианова. Но вглядываясь въ иные наброски Шмелькова, мы найдемъ по рой явственные намеки на то, что у него кое чѣму научились, а иногда весьма и весьма важному, и Новоскольцевъ, и В. Васнецовъ, и наконецъ—Рѣпинъ... Чрезвычайно много давая другимъ, Шмельковъ много и воспринималъ; онъ учился

¹ Кстати сказать, Федотовъ пробовалъ заимствовать и у этого мастера, дѣйствительно своеобразной силы и очень опредѣленного, но это ему рѣшительно не удавалось. Такіе опыты, какъ эскизъ ,Въ лавкѣ сапожника¹⁴, показываютъ намъ, какъ несвойствененъ бытъ Федотову нѣсколько неуклюжий, но сильный и какъ бы чеканный рисунокъ Щедровскаго.



П. Шмельковъ.
„Плакальщицы“.

P. Chmeikoff.
„Les pleureuses“.

и у Щедровского, и со Шварцемъ онъ находится въ какой то, вѣроятно взаимной, очень определенной связи, наконецъ не исключена возможность вліянія на него Федотова (Шмельковъ родился въ 1819 году, а умеръ въ 1890-мъ), но тогда это вліяніе мы найдемъ какъ разъ въ тѣхъ работахъ, которыя рѣзко отличаются отъ другихъ иѣкоторой „засущенностью“, несвободой и бѣдностью; прекрасно-гармоничной, но иѣсколько отвлеченной линіи Федотова онъ не полюбиль (См. „Плакальщицы“). Но вотъ другой его рисунокъ — „Умываніе“; правда, прежде всего слѣдуетъ указать на непосредственный образецъ этого приема — Домье; голову старого волокиты мы, пожалуй, легко бы могли приписать великому французу, но техника служанки и въ особенности очеркъ обманываемой супруги въ соседней комнатѣ говорятъ намъ о иныхъ началахъ, своеобразныхъ и крайне важныхъ, важныхъ тѣмъ, что въ нихъ первыя зерна того одновременно и чрезвычайно

мягкаго и страстнаго, зоркаго и трепетнаго „мастерства“, которыя дали обильный всходъ, вплоть до Рѣпина.

Если рисунки Щедровскаго только заставляютъ насъ мечтать и сожалѣть, что ему не удалось зачать школу, для которой уже было заготовлено все въ его простомъ и сильномъ мастерствѣ, то изучая Шмелькова, о томъ же не приходится сожалѣть,—онъ далъ исключительно громадную школу, которая, ширясь, охватила почти все русское искусство, такъ какъ онъ, Шмельковъ, явился зерномъ, можетъ быть даже первымъ воплощеніемъ духа той московской школы, которая смогла явить вскорѣ же такихъ мастеровъ, какъ Суриковъ или Рябушкинъ...

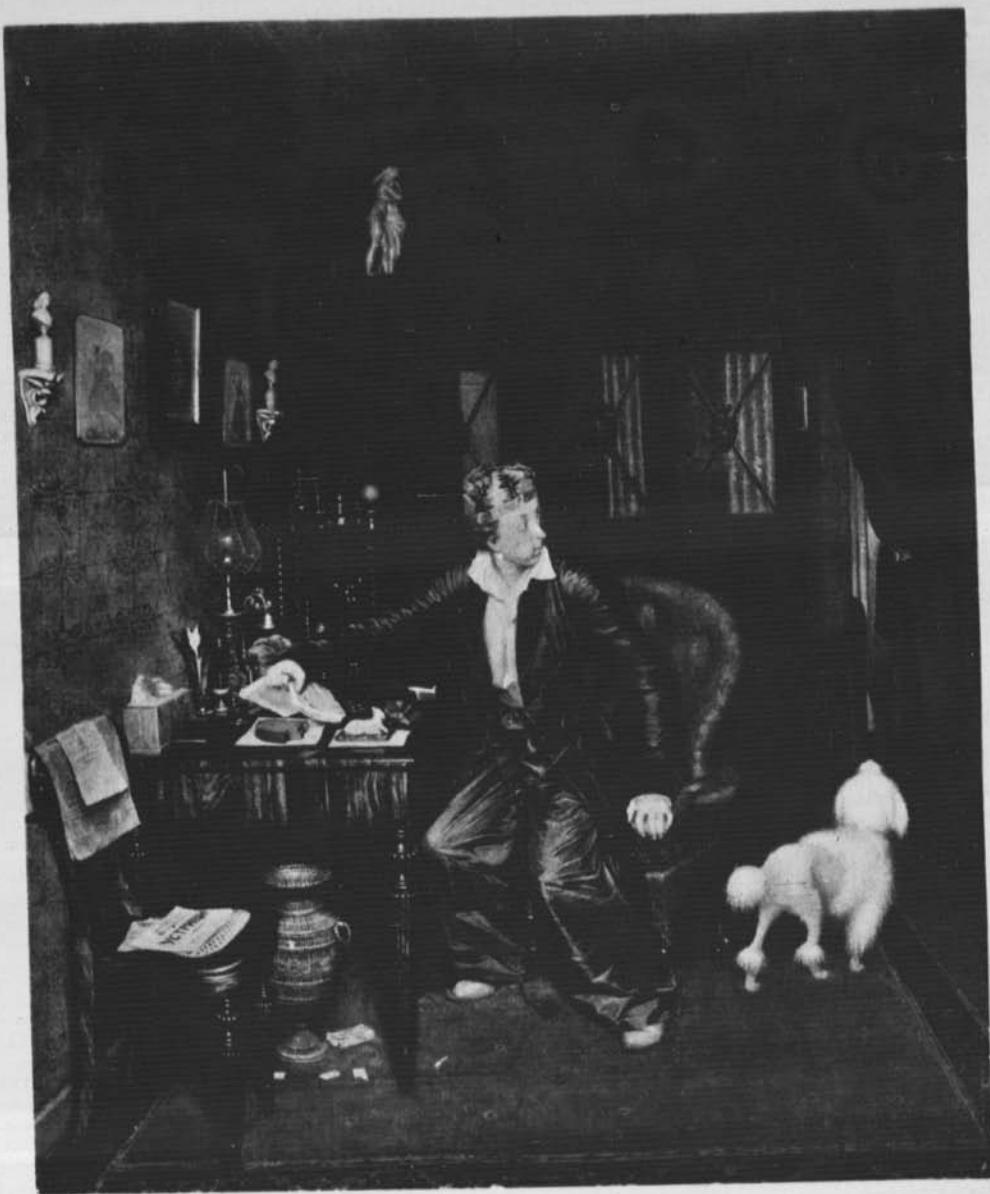
Итакъ, отъ Федотова совершенно необходимо отнять имя предтечи „передвижничества“, это название лишь крайне затрудняло и путало наше изученіе Федотова и кромѣ того несправедливо лишало заслуженнаго вѣника дѣйствительного главу передвижниковъ.

Какъ Агинъ возьметъ отъ Федотова его имя „Гоголя въ живописи“, такъ Шмельковъ перейметъ почетный титулъ „колонновожатаго передвижничества“, и это на благо изучаемому нами художнику; можетъ быть, наконецъ то, Федотовъ дождется своего подлиннаго признания и перестанетъ, какъ призракъ, маячить передъ нашими глазами, все время мѣня свой обликъ, всѣмъ странный и никому не близкій.

Общій итогъ

Я предупреждалъ въ началѣ очерка, что мое объясненіе внутренней связи и смысла творчества Федотова — лишь гипотеза; она построена на слишкомъ еще призрачныхъ основаніяхъ, чтобы быть чѣмъ либо инымъ, кромѣ догадки. Впрочемъ, смѣю утверждать, данная гипотеза не болѣе шатка, чѣмъ всѣ иные известныя намъ объясненія федотовскаго творчества. Отличіе же и, если хотите, преимущества нашей догадки таковы: она позволяетъ намъ связать весь художественный путь Федотова въ одну послѣдовательную и непрерывно-восходящую цѣпь, безъ какой либо внезапной вершины въ этой цѣпи, скорѣй, пожалуй, безъ всякой вершины, такъ какъ цѣпь оборвалась... если же и есть вершина, то какъ разъ на концѣ оборвавшейся цѣпи, т. е., „Завтракъ аристократа“ и „Вдовушка“. Затѣмъ, эта же гипотеза позволяетъ намъ снять, наконецъ, съ художника призрачный и такъ не подходящій ни къ складу, ни къ духу творчества Федотова плащъ, накинутый на него случайной игрой исторіи, и дѣлаетъ его простымъ и намъ понятнымъ.

Намъ удается выяснить, какимъ путемъ согласовалась мечтательная и робкая кисть Федотова съ великолѣпной и виртуозно-размашистой кистью автора „Помпеи“ черезъ затѣйливый и сентиментальный брюлловскій жанръ, черезъ его уточненно-



С.А. Федотов.

R.Fedotoff

,Завтрак аристократа'(масло).
Римский музей.
,Le dejeuner d'un aristocrate'(huile)
Musée Roumiantzoff'

простой и точный рисунокъ. Этотъ рисунокъ, благодаря исключительной мѣрѣ, казался, на первый взглядъ, почти робкимъ. И именно изъ него родилась пѣнительно-осторожная и прекрасная въ своей сдержанности линія Федотова. Намъ понятнымъ отсюда становится, почему въ Эрмитажѣ Федотову въ особенности запечатлѣлись Метсю и Терборхъ; у нихъ, у этихъ мастеровъ замкнутой въ себя и „тихой“ композиції, одной медленно-продуманной и любовно-переданной позы, одного поворота прекрасной шеи, блеска атласнаго платя, Федотовъ могъ найти много драгоценныхъ указаний къ своему завѣтному устремленію.

Казалось, зачаровавшая Федотова прекрасная линія была забыта; она запуталась и скомкалась въ безудержныхъ кошмарахъ „злого Хогарта“, но иѣть, и здѣсь она поблескивала вдругъ, внезапными прорывами, то въ видѣ тихой позы скорбнаго художника, зарисовывающаго мертвую Фидельку, то въ видѣ отзыва граціозной композиціи Фрагонара...

Мы уясняемъ, какими нитями Федотовъ связалъ Хогарта съ Гаварни и ихъ обоихъ съ постояннымъ своимъ наставникомъ, Брюловымъ, и почему, затѣмъ, такъ упорно и страстно мечталъ художникъ о своей ненаписанной картинѣ „Институтки“. Въ ней онъ воплотилъ бы, наконецъ, свою настойчивую мысль о волшебной линіи, о прелести композиціи, безъ сюжета, съ одной только единственной задачей, которую самъ художникъ опредѣлялъ такъ: „Я хочу, чтобы зрителю эти девушки казались существами знакомыми и где то видѣнными“. Развѣ такой темой задавался кто либо изъ передвижниковъ! Да вообще, кто еще, кромѣ Федотова, задавался ею? Странное и пѣнительное чувство знакомости, возникающее при видѣ иного прекраснаго лица, художникъ мечталъ воплотить въ видимый образъ; пѣненный таинственной силой иныхъ изгибовъ, иныхъ образовъ, какъ будто простыхъ и несложныхъ, художникъ хотѣлъ ими пѣнить и насыть. Какая чуднѣя мечта! и только послѣ Брюллова она могла застать въ душу русскаго художника...

Наконецъ, намъ становится понятнымъ, почему этому художнику выпала такая особенная роль въ исторіи русской живописи. Онъ пѣнилъ съ исключительной въ русской живописи силой каждого изслѣдователя, но всѣ ихъ попытки объяснить эту пѣнительность громадной ролью Федотова въ исторіи явились натяжкой. Наоборотъ, съ каждымъ новымъ поколѣніемъ оторванность Федотова отъ потомковъ подчеркивалась. Однако это уже не покажется намъ страннымъ и исключительнымъ, такъ какъ такова судьба не одного Федотова. Онъ—только наиболѣе чарующій изъ немногочисленнаго созвѣздія, замеравшаго отраженнымъ свѣтомъ Брюллова, наиболѣе настойчивый изъ такихъ же, какъ онъ, опьяненныхъ общей мечтой о прекрасно-легкой и волшебно-простой формѣ, какъ, напримѣръ, Мокрицкій, Тырановъ, Михайловъ, Крыловъ... начинанія всѣхъ ихъ безвозвратно гаснутъ, какъ ненужные отблески ненужнаго солнца. Какъ итогъ работы поколѣній, какъ итогъ преемственности и высокой культуры, взращенной Академіей, какъ лучшая надежда, возникъ теплично-безпочвенный, но и сказочно-радужный Брюлловъ.

Этой радужностью и этой культурой Брюлловъ навсегда закодировалъ не одного только Федотова, но развѣ могла эта тепличная культура перейти въ землю тогдашней русской жизни? Эти „брюлловцы“, и первый среди нихъ Федотовъ, должны были уступить дорогу и быть затоптанными грознымъ своей многочисленностью и сильнымъ простотой и злободневностью своихъ запросовъ передвижничествомъ. Эта сила безъ борьбы подавила немногихъ „зачарованныхъ“, чтобы потомъ воз величить ею же искаженного до неузнаваемости Федотова, какъ знамя и символъ новой жизни, той жизни, которой Федотовъ не жилъ и не искалъ жить... Тогда въ исторіи возникаетъ зыбкій призракъ, „Федотовъ“, первый борецъ за идеалы передвижничества, однако всю жизнь благоговѣйно почитавшій Брюллова, не любившій очень Хогарта, сторонившійся совершенно той полосы европейской художественной жизни, которая вскормила передвижничество; главное же, съ каждымъ годомъ досадливо ясно (къ досадѣ передвижниковъ, во главѣ со Стасовымъ) уходившій далѣе и далѣе отъ „поученій“ въ замкнутый и тихій кругъ поисковъ прекрасной формы. Этотъ зыбкій призракъ заслонялъ для настъ обликъ Федотова, мы никакъ не могли понять, какова плоть и гдѣ же она въ этомъ историческомъ „наважденіи“. Правда, чтобы добраться до этой плоти, чтобы близко разглядѣть, понять и полюбить Федотова, намъ пришлось значительно подрѣзать тѣ ходули, на которыхъ вознесла его, случайной игрой, исторія. Но къ чему и кому нужны сейчасъ мишурные апоѳеозы? Вниманіе русского общества къ родному искусству настолько уже окрѣпло и установилось, что мы, не боясь разочаровать, можемъ нынѣ рискинуть ввести отдельныя явленія нашей художественной школы въ рамки возможно болѣе ясныя и трезвые.

ОМРАЧЕННЫЙ ПЕТРОГРАДЪ¹

АЛЕКСАНДРЪ ГИДОНИ

...Поэтъ, любимый небесами,
Ужъ пѣлъ безсмертными стихами
Несчастье иевскихъ береговъ.
Но бѣдный, бѣдный мой Евгений...
Увы! его смятенный умъ
Противъ ужасныхъ потрясений
Не устоялъ.

Пушкинъ.



ОЛЬШОЙ, сѣрий томъ. Несуразно, даже по виѣности, спи-
тая книга. Отличная бумага, прекрасная печать, но когда от-
кроешь эту книгу, глазу неспокойно становится отъ обилія на
каждой страницѣ точекъ, восклицательныхъ знаковъ, вопроси-
тельныхъ знаковъ, разныхъ тире и полутире. Точно — ноты.
И среди всѣхъ этихъ знаковъ несутся читателю въ глаза
трудныя, напрягающія мысль слова. А когда присмотришь-
ко всему, что за этими словами скрыто, когда вѣкоторымъ усилемъ воли отдашь
себя во власть ихъ неровному, многократно мѣняющемуся ритму, почувствуешь,
что несетъ тебя бурливый, порогами изрытый, потокъ. Острые камни бьють и
рвутъ, и не оглянешься, для мысли не станетъ времени. Не знаешь, что это: то-
мленіе или утомленіе, стѣсненность сердца въ великую минуту или бесплодная
усталость.

Поэтому книга эта, если и прочтется сразу, то такимъ лишь читателемъ, сердце и
умъ котораго требуютъ разгадки всякой обманчивости, всякой шарадѣ—разрѣшенія.
Если же читатель лѣнивѣ, то на второй главѣ, усталый, отложитъ онъ большой
сѣрий томъ, несуразно толстый, въ твердой шуршащей обложкѣ. Но не случится
между авторомъ и слушателемъ упоительной минуты единенія въ новомъ, вы-
думанномъ, не бывшемъ прежде мірѣ. Въ этотъ міръ читатель войти не захочетъ;
если же войдетъ, то противъ воли и даже безъ всякой своей воли. Такъ, члены
ученыхъ экспедицій, изучающіе бытъ инородческихъ племенъ, помимо своей воли
поддаются гипнозу шаманскихъ заклинаній. Но проходитъ часъ шаманскихъ закли-
наній, свѣтлѣеть умъ, очищается сердце, снова свѣтлѣеть солнце, и недавно загипно-

¹«Петербургъ», романъ Андрея Бѣлаго. Петроградъ. 1916.

тизований съ досадой и обидой вспоминаетъ тотъ часъ, когда не всегда сильное сознаніе и часто немощная плоть уступили туману, въ забвніи Свѣтила-жизнедавца. Была зараза — и вотъ она прошла.

Существуетъ выраженіе, по нашему мнѣнію, несправедливо къ искусству примѣняемое,—мы говоримъ о „чистомъ искусствѣ“, не преслѣдующемъ цѣлей прикладныхъ: „художественное произведеніе заражаетъ“. Употребленіе такого оборота рѣчи есть величайшее оскорблѣніе, какое только мыслимо, всѣмъ девяти музамъ. Ничѣ и никакое творчество, если оно просвѣтлено дѣйственнымъ началомъ созидающей красоты, не можетъ заражать. Это — не споръ о словахъ, но самое существо дѣла. Художникъ, въ часъ творчества, богоподобно творилъ новый міръ, открылъ его всѣмъ, ранѣе его не знавшимъ, пригласилъ ихъ къ общей, совѣтной, радостной жизни въ этомъ новомъ мірѣ. Всегда къ радостной жизни, ибо — есть упеніе въ бою и бездны мрачной на краю⁴. Какіе бы ужасы, какіе бы провалы душевные, какія бы страданія неизбывныя не живописаль художникъ, свободное влеченіе уносить воспринимающаго въ этотъ новый міръ. Онъ хочетъ самъ узнать всѣ радости или упиться всѣми ужасами заново созданнаго и теперь имъ проходимаго пути. Есть его свободный выборъ итти или не итти по этому пути. Такъ, въ глубокой древности, въ храмы самые мрачные, по приглашенію жреца, но по своей волѣ, входили молящіеся. Были, правда, и другіе культуры, гдѣ множества множествъ людей доводились до изступленія, до потери не только разума и сознанія своей личности, но даже до утраты простой физической чувствительности. Въ этихъ храмахъ, если и царствовалъ богъ, то это былъ — богъ обмана.

Художественное произведеніе, выразитель свободнаго духовнаго творчества, свободной воли художника, къ какой бы онъ школѣ ни принадлежалъ, въ какой бы манерѣ ни писалъ, очищаетъ, освѣтляетъ, вдохновляетъ, требуетъ состраданія, умиляетъ или приглашаетъ ко гнѣву, но только не заражаетъ. Даже „зараженные“ художники пріобрѣтали право на вѣнецъ созданныхъ ими царствъ только потому, что преодолѣвали свою „заразу“. Преодолѣніе есть единственный путь подлиннаго художника. Если бы Достоевскій не прошелъ этого пути, его романы остались бы въ области клиническаго интереса. И такъ со всѣми и у всѣхъ. Кто бы ни былъ твой богъ, художникъ, Аполлонъ или Діонисъ, — боги требуютъ не подарка, а жертвы. Отдавая только свое достояніе, ты даришь, отдавая преодолѣніе свое — ты жертвуешь. Подарокъ, вопреки народной мудрости, мѣрится по цѣнѣ его, но жертва, даже если она — лента вдовицы, всегда свята. „Петербургъ“ Андрея Бѣлаго — подарокъ или жертва?

„Петербургъ, Петербургъ! Осаждаясь туманомъ, и меня ты преслѣдовалъ праздною мозговою игрой: ты — мучитель жестокосердый; ты — непокойный призракъ; ты, бывало, года на меня нападаешь; бѣгаль я на твоихъ ужасныхъ проспектахъ и съ разбѣга взлетаешь на чугунный тотъ мостъ, начинавшійся съ края земного, чтобы вести въ безкрайнюю даль... О, большой, электричествомъ блещущій мостъ!

Помню я одно роковое мгновение; черезъ твои сырья перила сентябрьской ночью перегнулся и я: мигъ—и тѣло мое пролетѣло бѣ въ туманы. О, зеленыя, кишащиа бацилами воды! Еще мигъ—обернули бѣ вы и меня въ свою тѣни.

Приведенный отрывокъ—одинъ изъ руководящихъ мотивовъ всего романа. Внутреннее отношение автора къ этому мотиву, безсилѣ преодолѣть его, какъ свое переживание, предопредѣляетъ судьбу творческаго его сознанія. Петербургъ, осаждаясь туманомъ, преслѣдовалъ его праздной мозговой игрой, мучилъ его жестокосердно, какъ испокойный призракъ. Но мучить его и теперь, но и теперь стоитъ за нимъ неотступно, какъ стоялъ все время, когда созидался романъ. Зеленыя, кишащиа бацилами воды обманчивой и вредной своей глубиной, испареніями своихъ тумановъ заслонили отъ него то солнце, сыномъ котораго чувствовалъ себя когда то авторъ „Симфоній“.

Нѣтъ мѣста въ насы недовѣрію, когда мы думаемъ о силѣ и правдоподобности записи всей той „праздной мозговой игры“, какая привела къ „Петербургу“. Болѣе того, мы сами были во власти ея, мы „заразились“ ею. Но когда отошло наважденіе зеленыхъ, бацилами кишащихъ водъ, наважденіе тумановъ, мы бѣжали отъ этого сплетенія призраковъ, потому что не было нашей воли къ нимъ: въ ярмѣ понужденія—какая же радость? Мы не ощущали „Петербурга“, какъ царства внутренней свободы его создателя, не захотѣли быть въ двойномъ рабствѣ, въ рабствѣ гипноза у несвободнаго. И мы отложили эту книгу съ тягостнымъ для себя сознаніемъ: вотъ книга, написанная человѣкомъ, имѣющимъ всѣ элементы вдохновенности, кромѣ одного—силы сопротивленія. Мыслитель англо-саксонской расы Эмерсонъ опредѣляетъ гениальность, какъ постоянную сосредоточенность въ себѣ. Чувствуете ли вы, какая огромная сила сопротивленія заключается здѣсь не въ понятіи „сосредоточенность въ себѣ“, ибо таковая есть склонность характера, но въ эпитетѣ „постоянныи“. Постоянно, всегда, при всѣхъ обстоятельствахъ, въ каждую секунду бытія своего, отъ всѣхъ впечатлѣній среды, отъ всѣхъ случайностей, жизненныхъ столкновеній, даже отъ своихъ умозрѣній, уходить къ себѣ, всегда знать о двухъ мірахъ, о мірѣ иномъ и о мірѣ资料 ofего Я, всегда принимать первый только черезъ второй. Душа генія—великий кормчій. Такимъ былъ Толстой. Таковъ Достоевскій. Выше ихъ, въ благородной кристальной своей ясности—Пушкинъ. И вотъ теперь нестройно написанный романъ, со множествомъ идеиныхъ ассоціацій, заимствованныхъ у Достоевскаго, Мережковскаго, Розанова, со множествомъ образовъ, навѣянныхъ Пушкинъ, Александромъ Блокомъ и тѣмъ же Мережковскимъ, съ обилемъ отступленій, утомляющихъ читателя,—теперь романъ этотъ многими возводится на непрекаемую высоту, на высоту новыхъ формъ, на высоту гениального прозрѣнія.

Среди возводящихъ—Николай Бердяевъ.

Андрей Бѣлый самый значительный русскій писатель послѣдней литературной эпохи, самый оригиналъ, создавшій совершенно новую форму въ художествен-

ной прозѣ, совершенно новый ритмъ. Онъ все еще, къ стыду нашему, недостаточно признанъ, но я не сомнѣваюсь, что со временемъ будетъ признана его гениальность, большая, неспособная къ созданию совершенныхъ твореній, но поражающая своимъ новымъ чувствомъ жизни и своей небывшей еще музыкальной формой. И будетъ А. Бѣлый поставленъ въ ряду большихъ русскихъ писателей, какъ настоящій продолжатель Гоголя и Достоевскаго. Явленіе Бѣлаго можетъ быть сопоставлено лишь съ явленіемъ Скрябина. Не случайно, что и у того и у другого есть тяготѣніе къ теософіи, оккультизму. Это связано съ ощущеніемъ наступленія космической эпохи¹.

Сколько соблазна въ этихъ утвержденіяхъ! Какъ перемѣшалось въ нихъ запечатлѣніе точного факта съ неяснымъ, спорнымъ и вовсе невѣрнымъ. Конечно, Андрей Бѣлый, поэтъ и авторъ „Симфонії“, есть создатель новыхъ формъ и нового ритма. Вѣрио, что творчество его—больное, „Петербургъ“—послѣднее о томъ свидѣтельство, и, скажемъ, самое печальное. Но о какихъ признакахъ „совершенного“ мыслить, разсуждая о „Петербургѣ“; Николай Бердаевъ? Мы знаемъ, какъ опасна мѣрка врача въ опредѣленіи болѣзни, когда она примѣняется къ творчеству. Примѣры оцѣнокъ, дававшихся съ этой точки зрѣнія творчеству Леопарди, Толстого, Грильпарцера, Гоголя, Бодлера, Достоевскаго, Верлена, Стриндерга, Уайльда и другихъ, слишкомъ показательны. Еще неубѣдительнѣе ранжиръ преподавателя словесности. На основаніи большинствомъ установленнаго мнѣнія, что совершины творенія Гомера, Софокла, Горация, Гете, сколько другихъ произведеній, хотя бы и гениальныхъ, можно признать несовершиными? Допустимъ, что Пушкинъ подойдетъ подъ ранжиръ, а Достоевскій, а Толстой?

Думается намъ, что критикамъ субъективной манеры не слѣдуетъ вовсе вводить въ свои оцѣнки понятія, опирающіяся на какую либо норму, тамъ, гдѣ идеаломъ является полное отрицаніе ихъ, ибо что есть гений, какъ не отрицаніе нормы? Со многихъ точекъ зрѣнія, творчество Достоевскаго есть творчество больное, и произведенія его, конечно, несовершины. Тѣмъ не менѣе, въ перспективѣ русского національнаго творчества гений Достоевскаго—здоровъ, наперекоръ всяkimъ рамкамъ и оцѣнкамъ. Творенія его въ томъ же смыслѣ—совершины. Сизифъ труда возьметъ на себя критикъ, который подойдетъ къ творчеству автора „Преступленія и наказанія“ съ точки зрѣнія разбросанныхъ въ этомъ романѣ фактическихъ несообразностей и стилистическихъ погрѣшностей. Сила творческаго преодолѣнія, выявленная Достоевскимъ, столь велика, что въ свѣтѣ ея болѣзненное состояніе его духа, какъ данность, техника его работы, не входятъ и не войдутъ въ сознаніе читательскихъ поколѣній.

Чтобы решить, всталъ ли Андрей Бѣлый на такую же высоту романа „Петербургъ“, надобно, совершенно не интересуясь вопросомъ о болѣзненности его гenia,

¹ „Астральный романъ“ („Петербургъ“ Андрея Бѣлага). „Биржевые Вѣdomosti“ № 15494.

прослѣдить силу творческаго преодолѣнія, имъ обнаруженнюю,—есть ли она вообще?

II

Какъ много показательнаго въ „Петербургѣ“, какъ мало убѣдительнаго! Романъ начинается прологомъ: полторы странички не то сатиры, не то гротеска. „Ваши превосходительства, высокородія, благородія, граждане! Что есть Русская Имперія наша?“

И на этотъ вопросъ о сущности „Русской Имперіи нашей“ слѣдуетъ затѣмъ ливий, манерный отвѣтъ, относительно оригинальный по формѣ, но ничего не объясняющій въ существѣ. Объ этомъ, какъ мелочи, излишне было бы говорить, если бы не любопытная въ прологѣ деталь.

„Невскій Проспектъ прямолинеенъ (говоря между нами), потому что онъ—европейскій проспектъ; всякий же европейскій проспектъ есть не просто проспектъ, а (какъ я уже сказала) проспектъ европейскій, потому что... да...“

И въ другомъ мѣстѣ: „Невскій Проспектъ, какъ и всякий проспектъ, есть публичный Проспектъ; то есть: проспектъ для циркуляціи публики (не воздуха, напримѣръ); образующіе его боковыя границы домы суть—гм... да... для публики“.

Что это? Эзоповъ языкъ, возводимый въ литературный пріемъ? Авторскій „экивокъ“, какъ новый, ранѣе не употреблявшійся, пріемъ литературной техники, которому, быть можетъ, суждено войти въ образцы специальной отечественной теоріи словесности въ отличіе отъ теоріи словесности, выработавшейся на западѣ? Эти „экивоки“ въ „Петербургѣ“ потому представляютъ новизну сравнительно, напримѣръ, съ пріемами Салтыкова-Щедрина, что у послѣдняго такъ называемый эзоповъ языкъ вынуждался условіями тогдашней цензуры и всей общественности. Онъ имѣлъ значеніе чисто прикладное. Строки писались для того, чтобы читатель искалъ и находилъ мысли между строкъ. Ни въ приведенныхъ цитатахъ, ни въ другихъ мѣстахъ разбираемаго нами романа названный пріемъ такого значенія не получаетъ. Всѣ эти „гм... да...“ суть не болѣе, какъ авторскія подмигиванія въ сторону, по совершению неизвѣстной причинѣ. Это, конечно, подмигиванія отъ осторожности, отъ болѣзни. Смысьль ихъ тақовъ: „лучше не скажемъ, чтобы насть не услышали, промолчимъ, во избѣжаніе недоразумѣній. Пусть наша мысль останется при насть, вы же знайте, что какая то мысль у насть есть“.

Въ условіяхъ обывательской повседневности эти „умалчиванія“, можетъ быть, имѣютъ свою прянность, но въ аспектѣ человѣчески-значительнаго цѣнны не сѣпья сплетни, не экивоки, порождаемые обывательской психологіей, а смыслъ национальнаго существованія, вопросъ о судьбахъ родины-матери. Если Гоголь, прямымъ продолжателемъ котораго считается Николай Бердяевъ Андрея Бѣлага, былъ

первымъ мѣщаниномъ въ русской литературѣ, то авторъ „Петербурга“, хотѣть ли онъ того или не хочетъ, есть „первый обыватель“ въ ней. Ни Толстой, ни Достоевскій, ни Гоголь, конечно, обывательщины, какъ жизнеощущенія, какъ стихіи, въ творчество свое не внесли и отъ обывательщины не исходили. Изъ примѣчательныхъ писателей нашихъ ранѣе Бѣлаго такимъ былъ только одинъ, оказавшій могущественное влияніе на автора „Петербурга“. Это—В. В. Розановъ. Говорятъ: и Розановъ геніаленъ. Если это и такъ, то геніальность его—обывательская, геніальность, отъ которой становится страшно и стыдно за среду, въ которой она могла создаться. Ощущивъ сущность Розанова, задыхаешься, чувствуешь свою обреченность, свое бессиліе. Отъ Розанова для читателя, съ чувствующимъ сердцемъ, выходъ только къ чаадаевскому пессимизму, безконечно осложненному всѣми пропалами и противорѣчіями, какіе накопили наша общественность, наша культура, наше самосознаніе со временеми смерти автора „Философическихъ писемъ“.

Въ иѣкоторыхъ отношеніяхъ „Петербургъ“ можетъ почитаться белетристической транскрипціей Розанова, съ тѣмъ только отличиемъ, что стиль Розанова крайне своеобразенъ, искрененъ и простъ. Розановъ умѣеть соблазнить, „не мудрствуя лукаво“, при всемъ несомнѣнномъ своемъ лукавствѣ. Между тѣмъ, стиль Бѣлаго вычуленъ, напряженъ, въ время превозмогаетъ, безъ преодолѣнія. Этотъ романъ, обращающійся къ аудиторіи столь огромной, какъ та, что вмѣщается въ спискахъ гражданской и военной службы и полицейскихъ регистрахъ нашей имперіи, едва ли будетъ послѣ прочтенія понять ничтожнымъ количествомъ такъ называемой „университетской интелигенціи“. За правильное пониманіе существа своихъ творческихъ заданій художникъ не отвѣчаетъ. Въ этомъ смыслѣ ему достаточно спокойной увѣренности, что не всегда прекрасное становится сразу доступнымъ. Но языкъ его долженъ быть понятенъ, ибо языкъ, какъ средство общенія творца и воспринимающаго, цѣненъ по степени его общности. Это не значитъ, что наилучшія слова—слова вывѣтревшіяся, образы, самые милые, къ сердцу идущіе—образы, уже знакомые всѣмъ, но это значитъ, что давно пора потребовать отъ художника, какъ первое условіе его творчества, простоты и ясности. Довольно, наконецъ, этихъ платьевъ андерсеновскаго короля, которыми стрѣльки восхищаются изъ ложнаго стыда, изъ боязни показаться „отсталыми“ или изъ чувства сибицизма.

Языкъ русскій—великій залогъ, великая красота, которой можетъ гордиться „Русская Имперія наша“. Въ наши невзрачные дни неужели надо повторять ломоносовскія слова, что русскій языкъ—языкъ силы, прямоты, широкой, необъятной вмѣстительности. Московская просвирни, которыхъ Пушкинъ заслушивался, нянія Арина Родіоновна, литературная воспріемница великаго поэта, конечно, не знали ни экивоковъ, ни недосказанностей, ни, наконецъ, этихъ тяжелыхъ, надуманныхъ, навороченныхъ словъ, отъ которыхъ головъ становится тяжко, и мозгъ, по слову самого А. Бѣлага, „упрочняется“.

Что бы ни говорилъ Николай Бердяевъ, космическое начало не новъ въ русской литературѣ, какъ не новъ въ ней и разгуль человѣческихъ страстей. Гораздо раньше Бердяева Флоберъ, говоря о Толстомъ, отмѣтилъ, что въ „Войнѣ и Мирѣ“ герой небывалый — масса. Народъ, Россія показаны Толстымъ въ величинѣ и силѣ космическихъ. Правда, и въ „Петербургѣ“ Андрея Бѣлага на многихъ страницахъ разсыпаны попытки выразить настроенія массы, разговоры улицы, эти перебрасывающіяся ломкія фразы, подслушанныя въ людскихъ скопленіяхъ, нарстающій гуль, зарожденіе и выявленіе единаго чувства толпы. Но только въ двухъ случаяхъ удалось Бѣлому относительно осуществить свои заданія. Онъ нашелъ силы выразить ощущенія неясной тревоги и „заплетающейся невской сплетни“. Было и это въ 1905 году. Хотя — только ли это?

Вліяніе Розанова, безъ сомнѣнія, сказалось въ безвольной, ничѣмъ не сдержанной регистраціи всѣхъ психическихъ переживаній отдельныхъ персонажей романа. Это вѣласть „Петербургъ“ пухлымъ, разбросаннымъ. Вниманіе читателя разбѣгается. Крайній импресіонизмъ изобразительныхъ способовъ въ связи съ кропотливой детализаціей психическихъ переживаній описываемыхъ лицъ создаетъ тягостное противорѣчіе, ибо вѣшній Петербургъ данъ импресіонистомъ, внутренній же описанъ почти въ протокольной манерѣ.

Въ этомъ психологическомъ протоколизмѣ изъ числа современныхъ писателей равенъ Бѣлому только авторъ „Опавшихъ листьевъ“.

Можно сказать, что одинъ изъ главнѣйшихъ мотивовъ романа — „мозговая игра“ — разработанъ Бѣлымъ съ нудящей, утомительной и, художественно, совершенно безцѣльной обстоятельностью. Подходъ къ этой „мозговой игрѣ“ взять чисто физиологический. Въ этомъ смыслѣ очень показательно неизмѣнное накопленіе Андреемъ Бѣлымъ подчеркнутыхъ физическихъ деталей въ описаніи извивовъ игры.

...Безотчетность тоски, галюцинаціи, страхи, водка, куреніе, отъ водки — частая и тупая боль въ головѣ; наконецъ, особое спинно-мозговое чувство: оно мучаетъ по утрамъ.

Розановское вліяніе особую выразительность приобрѣтаетъ въ обличительныхъ и сатирическихъ мѣстахъ романа. Притомъ, почти всегда Андрей Бѣлый поддается вліянію наиболѣе болѣзнейшихъ и болѣзнетворныхъ сторонъ розановскаго интелекта. Въ талантѣ Розанова есть очевидная двойственность. Худшая сторона его, если можно такъ выразиться, кривозеркальная. Именно въ этомъ аспектѣ Розановъ болѣе всего впечатляетъ Андрея Бѣлага. Оттого въ характеристикахъ, даваемыхъ отдельнымъ персонажамъ авторомъ „Петербурга“, появляется опредѣленная памфлетность, какъ, напримѣръ, въ описаніи профессора: „Воистину до-потопного вида мужчина, со сладкимъ и до ужаса разсѣяннымъ лицомъ, съ вздернутой на покрытой пухомъ спинѣ складочкой сюртука, отчего между фалдами непрілично просунулся незатѣйливый чернецкій хлястикъ; это былъ профессоръ статистики; съ его подбородка висѣла желтоватая клочкастая борода, и ему на плечи,

какъ войлокъ, свалились невидавшія гребни космы. Поражала его кровяная, будто отпадающая ото рта губа⁴.

Или: „Александру Ивановичу померещилось, что поющій—сладострастный, жгучій брюнетъ; брюнетъ—непремѣнно; у него такая воть впадая грудь, провалившаяся между плечъ, и такие воть глаза совершенного таракана; можетъ быть, онъ чахоточный; и, вѣроятно, южанинъ: одесстить или даже—болгаринъ изъ Варны (пожалуй, такъ будетъ лучше); ходить онъ не совсѣмъ въ опрятномъ бѣлѣ; пропагандируетъ что нибудь, ненавидѣть деревню⁴.

Многихъ, вѣроятно, читателей изъ числа такихъ мѣстъ романа всего непріятнѣе поразить описание митинга 1905 года, сдѣланное Бѣлымъ въ тонахъ сгущенного шаржа. Митингъ представляется Андрею Бѣлову толпою, въ которой „хлынули отовсюду груди, спины и лица, черная темнота, въ желтовато-туманную муть⁴, гдѣ все „перли да перли субъекты, косматыя шапки и барышни: тѣло перло на тѣло⁴, гдѣ „на лѣстницу выбился какой то весьма почтенный еврей въ барашковой шапкѣ, въ очкахъ, съ сильной просѣдью; обернувшись назадъ, въ совершенійшемъ ужасѣ онъ тянулся за полу свое собственное пальто; и не вытянулся; и не вытянувъ, раскричался:

— Караша публикумъ: не публикумъ, а свинство! рхуское!..

— Ну и что же ви, отчего же ви въ наша Рхассія?⁴ — раздалось откуда то снизу.

„Это еврей бундистъ-соціалистъ пререкался съ евреемъ не бундистомъ, но соціалистомъ⁴.

Въ эпоху, описываемую въ „Петербургѣ“, многіе, легко возбудимые писатели, въ томъ числѣ Андрей Бѣлый, примкнули къ самому лѣвымъ теченіямъ политической мысли. Въ ихъ числѣ былъ Андрей Бѣлый. „Прущіе субъекты“ отнеслись къ писателямъ этимъ съ недовѣріемъ. Это недовѣріе относилось къ Минскому, къ Бѣлову и къ тому же Розанову. Упомянутый фрагментъ романа, въ которомъ на протяженіи одной страницы данъ итогъ народному движению, какъ нелѣпому собранію, объединившему въ одной „прущей“ толпѣ барышень, гимназистовъ, евреевъ, ненавидящихъ Россію или снисходительно сю верховодящихъ, пьяныхъ рабочихъ, „представителей лумпенъ-пролетаріата“ и шестидесятипятилѣтнихъ земскихъ дѣятельницъ, повторяющихъ шаблонъ „полезнаго, доброго, вѣчнаго“, —этотъ фрагментъ безспорно весьма убѣдительно доказываетъ, что недовѣріе „прущихъ субъектовъ“ къ легко возбудимымъ писателямъ не было только „ошибкой“ 1905 года.

Если въ обличительной части, если въ психологическихъ описаніяхъ „Петербургѣ“ несеть на себѣ печать Розанова, то въ изображеніи общаго фона, мѣстнаго колорита „Петербургщины“ Андрей Бѣлый слѣдуетъ Мережковскому, въ частности излюбленному этимъ писателемъ приему контрастующихъ сопоставленій сегодняшняго съ историческимъ, предсказанія съ фактомъ, религіозной тревоги съ будничнымъ слухомъ.

Въ этомъ отношеніи особенно убѣдителенъ отрывокъ „Степка“ во второй главѣ. Вотъ конецъ его:

— Отъ табаку да отъ водки все и пошло; знаю то, и кто спаиваетъ: японецъ!

— А откуда ты знаешь?

— Про водку? Перво самъ графъ Левъ Николаевичъ Толстой — книжечку его „Первый винокуръ“ изволили читывать? — ефто самое говорить; да еще говорять тѣ вонъ самые люди, подъ Петербурхомъ.

— А про японца откуда ты знаешь?

— А про японца такъ водится: про японца всѣ знаютъ... Еще вотъ изволите помнить, ураганъ то, что надъ Москвою прошелъ, тоже сказывали — какъ моль, что моль, души моль, убиенныхъ; съ того, значитъ, свѣта, прошли надъ Москвою, безъ покаянія, значитъ, и умерли. И еще это значитъ: быть въ Москвѣ бунту.

— А съ Петербургомъ что будетъ?

— Да что: кумирю какую то строютъ китайцы!

Степку взялъ тогда баринъ къ себѣ, на чердакъ: нехорошее было у барина помѣщеніе... Взялъ онъ это съ собою, предъ собой усадилъ, изъ чемоданишка вынуль оборванную писулю; и писулю Степкѣ прочель:

...Близится великое время: остается десятилѣtie до начала конца: вспомните, запишите и передайте потомству; всѣхъ годовъ значительный 1954 годъ. Это Россіи коснется, ибо въ Россіи колыбель церкви. Филадельфійской; церковь эту благословилъ самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Вижу теперь, почему Соловьевъ говорилъ о культѣ Софіи. Это —помните? въ связи съ тѣмъ, что у Нижегородской сектантки... И такъ далѣе... далѣе... Степка почмыхивалъ носомъ, а баринъ писулю читаль; долго писулю читаль.

— Такъ оно — во, во, во. А какой ефто баринъ писалъ?

— Да заграницей онъ, изъ политическихъ ссылочныхъ.

— Вотъ оно што⁴.

Невольно вспоминается дневникъ Бельтраffio и послѣдующія главы въ „Леонардо да Винчи“, первыя страницы первыхъ двухъ главъ „Антихриста“ Мережковскаго. Изъ „Антихриста“ же заимствована тема „призрачности“ Петербурга. Таинственный ресторанный посѣтитель Бѣлаго, съ трубкой въ зубахъ, давящій Александра Ивановича Дудкина, дымомъ своей трубки засоряющій мозги бѣднаго петербуржца начала двадцатаго вѣка, многопудовый гигантъ, позеленѣвшій отъ времени, посѣщающій Дудкина на Васильевскомъ островѣ, это многократное воплощеніе ужаснаго лика вѣничанаго генія, занимаетъ въ „Петербургѣ“ Бѣлаго то же мѣсто, какое Мережковскій отвелъ въ своей трилогіи Бѣлой Дьяволицѣ — Венерѣ. Это Онъ выдумалъ Петербургъ, въ живыя подобія уплотнилъ петербургскіе туманы. Недаромъ такъ же властенъ Онъ въ галюцинаціяхъ Александра Дудкина, какъ иѣкогда властвовалъ надъ бредомъ Евгения.

Помимо всѣхъ этихъ вліяній, „Петербургъ“ точно общей прослойкой насыщенъ гипнозами Достоевскаго, съ той лишь разницей, что преодолѣть Достоевскаго Андрей Бѣлый вовсе не въ силахъ.

Нѣкоторые главы имѣютъ подзаголовки, какъ будто выхваченные изъ Достоевскаго. Отдельные диалоги Аполлона Аполлоновича и Коленъки заставляютъ вспомнить о Федорѣ Карамазовѣ въ его встрѣчахъ съ Митей. Картина умственного разслабленія Николая Аполлоновича, на квартирѣ у офицера Лихутина, помимо злобности шаржа, въ ней заключеннаго, отражаетъ столь же явственно безсиліе А. Бѣлаго преодолѣть въ своей душѣ автора „Идіота“. Высшаго своего развитія достигаетъ эта черта романа въ главѣ пятой, которая повѣствуетъ о „господинчикѣ съ бородавкой у носа и о сардиницѣ ужаснаго содержанія“ и имѣть эпиграфомъ стихи Пушкина: „Блеснетъ заутра лучъ денницы“ и т. д. Въ этой главѣ Андрей Бѣлый разсказываетъ о встрѣчѣ Николая Аполлоновича Аблехова съ Павломъ Яковлевичемъ Марковинымъ. Ихъ бесѣда въ ресторанѣ, безъ преувеличенія, какое то попури изъ Достоевскаго. Первые слова Марковина, завязывающаго знакомство съ молодымъ Облеуховымъ,—„Бьюсь объ закладъ, что вы изъ сплошного кокетства изволите на себя напускать этотъ тонъ равнодушія“—даютъ ідейную асоціацію Мармеладова: „А позвольте, милостивый государь мой, обратиться къ вамъ съ вопросомъ приватнымъ“. Даѣе слѣдуютъ варіація допроса Раскольникова въ „Преступлениі и наказанії“, такая же варіація бесѣды Ивана Карамазова со Смердяковымъ и, наконецъ, отраженія „Бѣсовъ“. Во всѣхъ этихъ положеніяхъ Петръ Яковлевич Марковинъ изъясняется выраженіями то слѣдователя Порфирия (Какъ я васъ настигъ: вы стояли надъ лужей и читали записочку: ну, думаю я, рѣдкій случай, рѣдчайший...), то Смердякова (Я, Николай Аполлоновичъ, прихожусь вѣдь вамъ братомъ... Разумѣется, законнымъ, ибо я, какъ-никакъ, плодъ несчастной любви родителя вашего... съ домовой бѣлошвейкою), то, наконецъ, Свидригайлова (Появились еще особья любострастныя чувства: знаете, ни въ кого изъ женщинъ я не былъ влюбленъ, былъ влюбленъ—какъ бы это сказать: въ отдельныя части женскаго тѣла, въ туалетныя принадлежности, въ чулки, напримѣръ...).

Рядъ этихъ сопоставленій могъ бы быть, сколько угодно, увеличенъ.

Между тѣмъ, символизація Бѣлага отражаетъ вліяніе Александра Блока. Читатель, который заинтересовался бы вопросомъ о флюидахъ, источенныхъ стихами Блока на „Петербургъ“ Бѣлага, долженъ сопоставить романъ съ нѣкоторыми стихотвореніями поэта „Прекрасной Дамы“, собранными въ первой и второй книгахъ его, изданныхъ „Мусагетомъ“. Здѣсь нами утверждается не подражаніе, не усвоеніе, даже не зависимость, а только отраженность, та именно отраженность, которая доступна и понятна въ творчествѣ, сочетающемъ элементы вдохновенія и безволія. Бѣлый описываетъ ожиданіе Николаемъ Аполлоновичемъ госпожи Лихутиной въ домѣ ея неподалеку отъ Зимней канавки. Николай Аполлоновичъ ждетъ ее въ темномъ подъѣздѣ въ красномъ домино—домино Арлекина:

„Какое то очертаніе, кажется маска, поднялось передъ ней со ступени... Изъ мрака возсталъ шелестящій, темнобагровый паяцъ съ бородатою, тря-
сущейся масочкой. Было видно изъ мрака, какъ беззвучно и медленно съ плечъ,
шуршащихъ атласомъ, повалили мѣха николаевки, какъ двѣ красныхъ
руки томительно протянулисѧ къ двери. Тутъ конечно закрылась дверь, перерѣзъ-
сночь свѣта и кидая обратно подъ Ѣздную лѣстницу въ совершенную пустоту,
темноту...“

У Блока:

Свѣть въ окошкѣ шатался,—
Въ полуумракѣ—одинъ—
У подъ Ѣзда шептался
Съ темнотой арлекинъ.
Былъ окутанный мглою
Бѣло-красный нарядъ...¹

Очень громоздко было бы въ каждомъ отдельномъ случаѣ приводить такія сопо-
ставленія, поэтому мы отмѣтимъ только нѣкоторые изъ образовъ Блока, нашед-
шихъ себѣ отраженіе въ „Петербургѣ“.

Среди гостей ходилъ я въ черномъ фракѣ.
Я руки жалъ. Я, улыбаясь, зналъ:
Пробьюте часы...

(Николай Аблеуховъ на балу).

Очарованный уличнымъ крикомъ,
Я бѣжалъ за мелькнувшимъ лицомъ.
Я бѣжалъ и угадывалъ лица,
На углахъ останавливалъ бѣгъ...

(Описание Невского проспекта).

Тамъ—въ улицѣ стоялъ какой то домъ,
И лѣстница крутая въ тьму водила.
Тамъ открывалась дверь, звеня стекломъ,
Свѣть выбѣгалъ,—и снова тьма бродила...

¹ Нами подчеркнуты въ сопоставляемыхъ отрывкахъ слова, музикально (шелестѣть, шуршать—
шептаться, шататься) паралельны по задуманному эффекту, или образно-тождественные (паяцъ—
арлекинъ), или схожія по зрительнымъ ассоціаціямъ (мракъ—полумракъ, бѣло-красный—двѣ
красныхъ), или, наконецъ, вполнѣ совпадающія по образному и словесному содержанию
(темнота).

Тамъ гулъ шаговъ терялся и исчезъ
На лѣстнице—при свѣтѣ лампы желтомъ...

(Домъ на Васильевскомъ островѣ).

И, словно лобъ наморщенный, карнизъ
Гримасу придавалъ стѣнѣ—и взоры...

(Особнякъ Аполлона Аполлоновича).

Наконецъ, весь романъ въ цѣломъ, имѣющій эпиграфъ изъ „Мѣднаго Всадника“ („Была ужасная пора“), съ большімъ основаніемъ долженъ быть имѣть имъ знакомые стихи Блока:

Я былъ весь въ пестрыхъ лоскутахъ,
Бѣлый, красный, въ безобразной маскѣ.
Хохоталъ и кривился на распутьяхъ,
И рассказывалъ шуточныхъ сказки.

„Пестрые лоскуты“ въ новую самоцвѣтную ткань, однако, не связались... Чуда преображенія не случилось.

III

Таковы общія свойства „Петербурга“, какъ произведенія белетристического. Нѣкоторые отдельные отрывки, нѣкоторая описанія его при всемъ томъ хранятъ на себѣ блескъ таланта. Сюда нужно отнести картину парада на Марсовомъ полѣ, пейзажъ разсвѣта на Невѣ, лирическое обращеніе къ Россіи, видѣніе памятника Петру, описание встрѣчи Мѣднаго Гиганта съ Александромъ Иванычемъ и т. д.¹ Все это не можетъ, однако, поколебать нашего сужденія о романѣ въ цѣломъ. Политическое содержаніе „Петербурга“ обязываетъ дополнить оцѣнку его нѣкоторыми соображеніями о такъ называемомъ „идейномъ содержаніи“ его, говоря проще—о публицистикѣ романа. Этой публицистики въ немъ много, больше всего. И это, само по себѣ, не есть еще осужденіе произведенія, ибо романъ, живописующій 1905 годъ, а въ глубокихъ своихъ основахъ ищущій изобразить весь Петербургскій періодъ нашей исторіи, къ политикѣ долженъ быть прійти неизбѣжно. Это—не въ осужденіе „Петербургу“, ибо давно пора намъ отказаться отъ той „обратной“ узости, какую усвоили послѣдніе белетристы наши, думающіе, что вѣрнѣйшее сред-

¹ Разборъ романа, какъ весьма своеобразного произведенія художественного слова, не входитъ въ нашу задачу. Такому разбору пришлось бы посвятить особое изслѣдованіе.

ство борьбы съ тенденциозностью былой ,народнической⁴ литературы есть ,аполитичность⁵ творчества. Такой взглядъ невѣренъ потому именно, что творчество свободно. Но каждая тема, каждый образъ художника требуютъ оцѣнки приемами, довѣряющими ихъ сути. Мудрено брать общественные, политическая или философская мѣрки при критическомъ разборѣ „Приключений Эме Лебефа“ Кузмина. Но символы „Петербурга“ уходята корнями въ политику, къ ней не обратиться немыслимо. Методологически трактуя политическую тему, критикъ связываетъ однимъ требованиемъ—сохранить безпристрастіе. Съ этой точки зрѣнія совершенно безразлично, осуждается Андрей Бѣлый или приемлетъ революцію, числить онъ заслуги за 1905 годомъ или отвергаетъ ихъ. Но сохраненіе исторической перспективы,—внутренняя правда,—есть то, что равно потребуютъ отъ Андрея Бѣлаго критики убѣжденій самыхъ разнообразныхъ, индивидуалисты и колективисты, консерваторы и либералы, славянофилы и западники. При такихъ условіяхъ, крайне спорнымъ представляется символическое противопоставленіе въ „Петербургѣ“ отца-бюрократа и сына-революціонера. Даже въ послѣднемъ, самому глубокому историческому смыслу, судьбы русского самосознанія, конечно, выходить за границы, отмежеванныя грѣхами русской бюрократіи. Провалы русской исторіи не зависятъ отъ того единственнно, что на народѣ лежитъ печать его правящаго класса. Есть причины размаха стихійного, печеновѣческаго, быть можетъ вѣчныя, какъ рокъ. Онъ лежать въ русской природѣ, въ самихъ условіяхъ мѣста Россіи подъ солнцемъ, въ крови русской расы. Между тѣмъ, въ своемъ романѣ А. Бѣлый сдѣлалъ все, чтобы отмежевать Петербургъ, бюрократический Римъ, отъ Россіи, какъ цѣлаго. Но сама то Россія не показана въ романѣ вовсе, если не считать лирическихъ къ ней обращеній! Создается какая то расколотость: съ одной стороны въ книгѣ затронута и тема расы, тема крови, усиленно подчеркивается монгольское происхожденіе Облеуховыхъ—отца и сына, галлюцинаціи монгольскими призраками преслѣдуютъ героеvъ романа и самого автора, но одного только въ книгѣ нѣть — славянской Россіи. Между тѣмъ, только при учетѣ Петербурга на Россію русскую пріобрѣтаетъ Петербургъ и, стало быть, весь Петербургскій періодъ Россіи смыслъ общезначительный.

Всякія же варіаціи „призрачности“ Петербурга, какъ индивидуального ощущенія, и модныя нынче пророчества въ духѣ Мережковскаго на тему „Петербургу быть пусту“, суть не болѣе, какъ литературные упражненія, весьма любопытныя для литераторовъ-профессионаловъ, но безнадежно безплодныя для Россіи. Ибо страна наша знаетъ Петербургъ, какъ реальность, какъ фактъ, засвидѣтельствованный двумя вѣками русской исторіи. Эти два вѣка ввели Петербургъ въ нашу душу. Если и впремъ „Петербургу быть пусту“,—онъ продолжить свою жизнь въ Тамбовѣ, Рязани, Твери, Томскѣ и, скажемъ наконецъ, въ Москвѣ. Немыслимо предположеніе, чтобы отсюдь петербургскаго вліянія на протяженіи самыхъ напряженныхъ столѣтій русской жизни не отпечаталось на всей психикѣ Россіи, тѣхъ столѣтій, когда

этотъ „выдуманный“ городъ далъ Россіи Петра, Ломоносова, Екатерину, Потемкина (стъ его, кстати сказать, славянофильской идеей русского Константиноополя), Александра I, Сперанского, Пестеля, Рылѣева, Аракчеева, Николая I, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Бѣлинского, Писарева, Чернышевского, Чехова, Менделѣева, Побѣдоносцева... Каждое такое имя, виѣ оцѣники внутренней его сущности, есть кусокъ русской жизни, отчеканено Петербургомъ.

Показать отраженія Петербурга въ Россіи, неизмѣнныій антагонизмъ столицы и страны, дать творческій прогнозъ ихъ грядущихъ судебъ, отѣйтить, возможно ли ихъ примиреніе—есть, безспорно, огромная тема. Не убоался ли ея самъ Толстой, отказавшись отъ „Декабристовъ“? Конечно, отказъ Андрея Бѣлаго при разработкѣ такой темы отъ ввода въ поле зреїнія Россіи есть легчайшій выходъ изъ положенія, но этотъ выходъ ничего не разрѣшаетъ, сулитъ фальшивъ и ломаность всѣхъ перспективъ.

Петербургъ заявляетъ энергично о томъ, что онъ—есть: оттуда, изъ этой воть точки несется потокомъ рой отпечатанной книги; несется изъ этой невидимой точки стремительно циркуляръ».

Но мѣста, которыхъ циркуляръ достигаетъ, среда, обслуживаемая потокомъ отпечатанной книги, остаются въ гиперборейской тѣни. Вмѣсто нихъ—пустота. Между тѣмъ, безъ картины вліянія центра на периферию нельзя судить о значительности этого центра, о томъ, источаетъ ли этотъ центръ добро или зло, надлежитъ ли утвердить существованіе его или отвергнуть. Минувшая эпохи русской жизни въ этомъ смыслѣ счастливѣе нашей,—онѣ имѣютъ такія отображенія. Такъ показалъ Россію Толстой-Гомеръ. Такъ видѣлъ Петербургъ Гоголь, первый провинціаль литературы нашей. Но для этого надо было встать и адъ Петербургомъ или виѣ его. Этого испытанія Андрей Бѣлыи не выдержалъ. Созданіе писателя не охватило Петербурга. Градъ Петра есть болѣзнь Бѣлага. Онъ боленъ имъ, томится Петербургомъ, какъ нѣкогда томилъ Евгенія Мѣдный Всадникъ. Но „Мѣдный Всадникъ“ написанъ быль—не Евгениемъ, а Пушкинымъ.

Между тѣмъ, читая „Петербургъ“ Андрея Бѣлага, нельзя освободиться отъ преслѣдующаго впечатлѣнія: такъ написалъ бы романъ Евгений...

Только Евгений могъ проглядѣть, „строгій, стройный видъ, Невы державное теченіе, береговой ея гранитъ“, всю ту необыкновенную четкость Петербурга, которая наперекоръ всѣмъ историческимъ колебаніямъ была и есть сила, „руки Петровой“ въ дѣлахъ Россіи, та именно сила, что заставитъ Петербургъ жить въ Тамбовѣ, Курскѣ, Клязьмѣ, если и вправду—Петербургу быть пусту».

М. С. ЩЕПКИНЪ

Н. ДОЛГОВЪ.



ЕБОЛЬШОЙ курскій городокъ Суджа съ его страннимъ не то татарскимъ, не то персидскимъ названіемъ мало кому знакомъ на Руси. Въ немъ иѣть ни бойкой торговли, ни особо чтимыхъ святынь, и „узроколейка“, которая тянется къ городу отъ такой же глухой, ни для кого не любопытной станціи желѣзной дороги, никогда не бываетъ переполнена туристами. А между тѣмъ маленький городокъ хранить единственную въ своемъ родѣ достопримѣчательность: на одной изъ его лучшихъ улицъ, названной въ честь актера, стоитъ первый памятникъ русскому актеру. Нѣсколько ступеней пьедестала, четырехгранныя колонна и бронзовый бюстъ; все это конечно не подавляетъ грандиозностью. Но есть что то невыразимо трогательное въ надписяхъ по граниту, гдѣ вместо списка побѣдъ забѣжіе изъ окрестныхъ деревень хохлы могутъ вычитать сентенцію: „Жить для меня значитъ — играть на сценѣ; играть значитъ — жить“. ¹

Добродушный Михайло Семеновичъ Щепкинъ глядѣть сверху тѣмъ мягкимъ примиреннымъ взглядомъ, который такъ типиченъ для людей старого поколѣнія, твердо знаяшихъ цѣль жизни и исполненныхъ свѣтлой радости отъ сознанія правоты всего совершенного въ предѣлахъ земномъ. И невольно думается, что это лицо, съ такъ рѣдко хмутившимся челомъ, прояснилось бы еще болѣе, если бы покойный артистъ могъ узнать, какъ отнеслось къ его памяти потомство. Данъ ли былъ тонъ въ литературныхъ воспоминаніяхъ, гдѣ такъ часто говорится о другѣ Пушкина, Гоголя, Герцена и Грановского, но Щепкинъ не раздѣлилъ участіи другихъ дѣятелей русской сцены, которымъ воздается такъ незаслуженно мало. О немъ много и хорошо писали, а все увѣреніе звучащей титулъ „перваго русскаго актера“ и устроителя образцового театра, „Дома Щепкина“, ясно говорить о томъ, что жизненный подвигъ великаго артиста оцѣненъ потомствомъ, быть можетъ даже свыше его мечтаній.

Но все же чувствуется какой то старый долгъ передъ артистомъ со стороны театральной критики. Помимо забвенія, у великихъ дѣятелей сцены есть еще

¹ Лучшую репродукцію памятника можно найти въ „Ежегодникѣ Императорскихъ Театровъ“ при обстоятельной статьѣ А. А. Ярцева. 1894—1895 г. Приложение, I, стр. 17—71.

иной врагъ — губительный шаблонъ прѣсныхъ, давно использованныхъ и потому ничего не значащихъ эпитетовъ. Не уберегся отъ этой бѣды и Щепкинъ, которому въ видѣ высшей награды даютъ титулъ актера, впервые заговорившаго на сценѣ не театрально. Подарокъ лестный, но перебывавшій уже во многихъ рукахъ. Казенный штампъ, изъ котораго не глядить на насъ подлинное лицо артиста и не обрисовывается истинная картина его заслугъ передъ русской сценой. И вотъ, какъ бы это ни показалось парадоксально, мы готовы утверждать, что заслуга Щепкина состоять совсѣмъ не въ реформѣ стиля игры въ сторону естественности и непосредственности. На нашъ взглядъ, такой переворотъ въ комической школѣ и вообще немыслимъ. Иное дѣло трагедія. Трагизмъ—міръ мечты, культь героеvъ, совершенство которыхъ манить на подвигъ человѣка толпы. Тамъ непохожесть—первое условіе успѣха. Но комическое — все отъ жизни и отъ ея ничтожныхъ треволненій, пробуждающихъ у зрителей не глубоко скрытый патоcъ, а тотъ же смѣхъ, какимъ мы смѣемся въ антрактѣ надъ шуткой сосѣда. Поэтому естественность тона всегда считалась на Западѣ неизмѣнной принадлежностью буфа.

*Il fut le maître de Molière
Et la nature fut le sien—*

говорить старинный французскій стишокъ, гдѣ титулъ учителя Мольера отводится тому Скарамушу, который славился, какъ неистощимый острякъ и акробатъ. Самъ же итальянскій буфъ учился только у ,натуры‘, и съ этимъ нельзя не согласиться, если вспомнить, что тонъ игры сейчашъ же провѣрялся у него импровизацией.¹ Близко къ этому стояло дѣло и у насъ. И если комическій стиль захудальныхъ провинціальныхъ труппъ, дѣйствовавшихъ передъ зрителями, которые до той поры и слыхомъ не слыхали о театрѣ, заключалъ въ себѣ много нелѣпаго, это нелѣпоешло отъ трагической школы. Это ясно изъ сравненія тяжелаго, расчитанного на условную читку стиха трагедій съ легкими куплетами старыхъ комедій, ясно изъ сопоставленія игры трагиковъ и комиковъ, да ясно и изъ признаній Щепкина, который въ своихъ запискахъ, начавъ говорить о ложномъ тонѣ, сейчашъ же сбивается на примѣры сильныхъ словъ и страстныхъ монологовъ. А между тѣмъ уже въ харьковскомъ театрѣ былъ комикъ Угаровъ, въ игрѣ которого юный артистъ подмѣтилъ ,жизнь‘, ,естественность, веселость, живость‘. Бѣда только, что для этого актера ,мышленіе было дѣломъ постороннимъ‘ и ему лишь случайно удавалось ,попадать вѣрно на какой нибудь характеръ.²

¹ „Il fut toute sa vie l'élève et l'ami du grand Scaramouche“, говорить Гюставъ Ларуме въ главѣ о сценическихъ приемахъ Мольера. „La comédie de Molière“, стр. 359.

² Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ, записки его, письма и разсказы, материалы для биографии и родословная. Издание А. С. Суворина, 1914 г., стр. 98.

Но какъ типична эта угаровская бѣда. Когда знаменитый буфъ Живокини, долгіе десятки лѣтъ дѣлившій со Щепкинымъ роли комическаго амплуа, объяснялъ свое влечение къ сценѣ, онъ ссыпался на Сосницкаго. Въ непринужденной игрѣ петербургскаго артиста онъ прозрѣлъ оправданіе импровизаціи. И ужъ конечно никто не игралъ такъ естественно, какъ этотъ никогда не смущавшійся и специально славившійся умѣніемъ разговаривать со зрителями артистъ. Но такая простота, по мнѣнію Щепкина, и была хуже воровства. На его взглядъ, лицедѣйство тоже являлось жизнью. Но не жизнью въ этомъ буквальномъ смыслѣ, а жизнью черезъ чуждый ликъ, явленіемъ таинственно загадочнымъ и страшнымъ.

Это видно изъ каждой строки его личныхъ признаній.

Человѣкъ съ несомнѣннымъ литературнымъ дарованіемъ, часто увлекавшій своимъ рассказами такихъ писателей, какъ Гоголь, Шевченко, Сухово-Кобылинъ, Щепкинъ не даль въ своихъ запискахъ узко-театральной хроники. Подъ его перомъ развертывается общая картина провинціальной жизни конца восемнадцатаго вѣка. И по врожденному ли добродушію автора, или потому, что судьба, такая милостивая къ его отцу, возвысившемуся изъ простыхъ крестьянъ до ранга графскаго управляющаго, была не особенно сурова къ нему самому, книга проникнута очень мягкимъ тономъ. Примѣрной доброты графъ и графиня, уѣздный городничій, деревенскій учитель-грамотѣй, фамилію которого никакъ не прилично выразить—всѣ они обрисованы не только со снисходительнымъ, но и съ любовнымъ вниманіемъ.

Въ прошлой жизни было что вспомнить. Но тѣмъ болѣе поражаетъ тотъ тонъ страстнаго восхищенія, какимъ говорить Щепкинъ о своихъ юношескихъ попыткахъ выступать на сценѣ. Съ первого выхода на подмостки, какимъ приходится, конечно, считать не дѣтскій спектакль у городничаго, а участіе въ бенефисѣ актрисы Лыковой, онъ отдался во власть демону перевоплощенія. Когда Лыкова сказала о злоключеніяхъ актера Арапьевы, пропившагося до рубашки, въ семнадцатилѣтнемъ Мишѣ Щепкинѣ, все такъ и закипѣло¹, и онъ, задыхаясь отъ волненія, предложилъ замѣнить его. Но вотъ предложеніе принято, и онъ, получивъ пьесу, бѣжитъ по улицѣ и, не обращая вниманія на смѣхъ прохожихъ, учить роль. Пхвала старой актрисы заставила его разразиться рыданіями, а какъ прошелъ спектакль, какъ и что было на сценѣ и вызывали ли въ антрактѣ, онъ и не помнилъ.¹

Гениальный инстинктъ сразу подсказалъ ему, въ чемъ самая глубокая сущность сценическаго искусства. Входя въ роль, онъ забывалъ все на свѣтѣ, жилъ новой жизнью изображенаго лица, и анализъ этого приема послужилъ зерномъ, изъ котораго чрезъ много лѣтъ выросла та глубоко реформаторская теорія сценическаго искусства, которая обусловила великую роль Щепкина въ национальномъ театрѣ. Прежніе актеры не забывали о публикѣ, и зная, что въ концѣ водевиля имъ придется, выстроившись въ шеренгу, просить у зрителей снисхожденія, заранѣе ста-

¹ Тамъ же, стр. 98.

рались угодить немилостивому суді и взглядомъ и улыбкой. Эти весельчаки смотрѣли по сторонамъ, не на жизнь, а въ даль, когда на сценѣ учтиво шаркали птицетры и лукаво посмѣшивались субретки, забавляя зрителей невиданной на Руси потѣхой. Вместо строгой музы мести и печали они служили шаловливой богинѣ граціозности. И если тутъ было много отъ стиля гротескъ, то очень мало отъ непосредственнаго наблюденія жизни.

Со Щепкинымъ на русской сценѣ должно было восторжествовать ичто совсѣмъ иное. „Дѣлая шагъ на сцену, оставь за порогомъ всѣ свои личныя заботы и попеченія; забудь, что ты былъ, и помни только, что ты теперь“.¹ Тутъ не только психологическая теорія перевоплощенія. По тѣмъ временамъ, когда рѣдкій комикъ удерживался отъ отсебятини, такое правило играло роль преддверія въ храмъ строгаго, вѣрнаго замыслу автора искусства. И Щепкинъ неутомимо шелъ къ дальнѣйшимъ выводамъ.

Бывшій крѣпостной, воспитанный на подачкахъ, онъ нашелъ въ себѣ достаточно душевныхъ силъ, чтобы призывать къ истинной свободѣ творчества. Зрительный залъ, передъ которымъ всѣ заискивали, былъ ничто въ его глазахъ, и онъ писалъ любимому ученику: „Пусть публика тобой довольна, но самъ къ себѣ будь строже я—и вѣрь, что внутренняя награда выше всѣхъ аплодисментовъ“.²

Это творчество, при которомъ артистъ говорить себѣ: „Ты самъ свой высшій судъ“, — первая заповѣдь художественного реализма, и въ призываѣ къ нему и состоитъ великое значеніе Щепкина для русской сцены. Слѣдя его завѣтамъ, актеръ не враждовалъ съ авторомъ, а становился его лучшимъ помощникомъ, такъ какъ правило „ради Бога не думай смѣшить публику“ неразрывно связывалось съ призовомъ —,старайся быть въ обществѣ сколько позволить время, изучай человѣка въ массѣ, не оставляй ни одного анекдота безъ вниманія, и всегда найдешь предшествующую причину, почему случилось такъ, а не иначе: эта живая книга замѣнитъ тебѣ всѣ теоріи, которыхъ, къ несчастію, въ нашемъ искусствѣ до сихъ поръ нѣтъ“.

Анализъ „живой книги“ восполнялъ давнишній пробѣль, и въ щепкинскихъ замѣткахъ, письмахъ, совѣтахъ, заключалась новая вполнѣ законченная теорія сценическаго искусства. Но прежде всего хочется сказать о томъ, что заставляло всѣхъ безотчетно вѣрить каждому слову этого человѣка и бѣжать къ нему за совѣтомъ въ трудную минуту.

Въ искусствѣ нуженъ для этого ореолъ учительства, непогрѣшимость личного служенія любимому дѣлу. И у Щепкина все это было въ большей мѣрѣ, чѣмъ у кого либо изъ русскихъ артистовъ.

¹ С. П. Соловьевъ. „Отрывки изъ памятной книжки отставного режисера“. „Ежегодникъ Императорскихъ театровъ“. 1895—1896 г., кн. 1-я, стр. 136.

² Изъ письма Шумскому. „Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ“, стр. 177.

На казенную сцену Щепкинъ поступилъ не сразу; до приглашения туда ему пришлось около пятинацати лѣтъ служить въ провинціи. Онъ видѣлъ трагикомическую обстановку этихъ театровъ съ декорацией сада, которую смыло при перевозкѣ изъ Кременчуга, и волшебнымъ полетомъ фурій, спускаемыхъ на простой веревкѣ. На подобной же сценѣ засталъ его въ Ильинскую ярмарку и Головинъ. Уродливый сарай, занавѣсь въ лохмотьяхъ¹, кое какъ намазанныя кулисы, грязный, неровный полъ, оркестръ, не всегда вникающей въ мелочныя подробности бе-каровъ и бе-молей, господа и госпожи, какіе то уроды съ того свѣта²—вотъ оправа, въ которую быль заключены драгоценныи алмазы.¹ Но эта обстановка не развратила артиста. Наоборотъ! Онъ всей душой стремился къ лучшимъ условіямъ художественной работы и, когда посланецъ директора московскихъ театровъ заговорилъ о переходѣ на Императорскую сцену, Щепкинъ, не задумываясь, промѣнялъ шесть тысячъ антре-принера Штейна на скромный окладъ. Но и тутъ, въ лучшемъ театрѣ, онъ пощательности работы оказался изъ первыхъ первымъ.

О его неумолимой строгости къ себѣ въ дѣлѣ сценическаго искусства сложились цѣлые легенды. Артистъ еще на считку приходилъ съ выученой ролью и, какъ бы часто ни шла потомъ пьеса, считалъ долгомъ вновь и вновь провѣрять себя. И какъ трогательенъ и въ то же время восхитителенъ каждый изъ подобныхъ рассказовъ.

Однажды, вспоминаетъ Нильскій, на Маломъ московскомъ театрѣ шла драма „Жизнь игрока“, и Щепкинъ игралъ въ ней старика-отца Жерманіи. Придя въ театръ очень рано, я отправился на сцену и засталъ тамъ одного только Михаила Семеновича, который за цѣлый часъ до увертюры, уже совсѣмъ одѣтый и загри-мированный для роли, расхаживалъ взадъ и впередъ отъ кулисы къ кулисѣ и что то озабоченно бормоталъ про себя.

На отданный ему мною поклонъ онъ отвѣтилъ невнимательнымъ кивкомъ головы и стереотипной фразой:

— Добрый годъ!

И потомъ, тѣмъ же порядкомъ продолжая бормотать себѣ что то подъ носъ, ни на что не глядя, продолжалъ прохаживаться отъ одной стороны сцены къ другой. Это продолжалось довольно долго. Я за нимъ съ понятнымъ любопытствомъ слѣ-дилъ и вдругъ, неожиданно, созерцаю такую картину: Щепкинъ быстро подбѣгаешь къ одной изъ кулисъ и громко, дрожащимъ голосомъ восклицаетъ, приправляя слова соотвѣтствующей жестикуляціей.

— Сынъ неблагодарный! Сынъ безчеловѣчный!

Это слова монолога изъ роли.

А затѣмъ опять началь продолжать свое шептаніе.

¹ Разсказъ Головина. „Репертуаръ русскаго и Пантеонъ иностранныхъ театровъ“, 1843 г., т. I, стр. 107.

Потомъ, когда съѣхались остальные артисты, я освѣдомился у кого то, всегда ли такъ рано забирается въ театръ Щепкинъ, и мнѣ отвѣтили утвердительно.

— И замѣтьте, такимъ образомъ онъ проходитъ каждую роль, хотя бы перенесенную имъ сотни разъ. Да вотъ вамъ и Жермани — онъ играетъ его десятки лѣтъ подъ рядъ.¹

,Избави Богъ не знать роли или передавать своими словами: какъ публика и критика могутъ судить о языкѣ автора, если мы будемъ сочинять по своему⁴, неуклонно винчали онъ молодымъ актерамъ, которые, вспоминая черезъ много лѣтъ обѣ игрѣ Щепкина, могли лишь сказать: ,Онъ священнодѣйствовалъ... играя даже водевили, онъ готовился какъ будто къ чему то страшному⁴.²

Разсказъ Нильского и слова артистки Шубертъ взаимно дополняютъ другъ друга. Конечно, уединяясь и повторяя роль, Щепкинъ имѣлъ въ виду не только возстановить въ памяти текстъ, который онъ зналъ хорошо съ первого же спектакля. Повтореніе роли имѣло болѣе глубокую цѣль. Артистъ стремился заранѣе вжиться въ изображаемый образъ, еще до поднятия занавѣса перенестись въ атмосферу пьесы. Именно такъ и объяснялъ его неизмѣнную привычку директоръ полтавскаго театра: ,Не только твердо зналъ онъ роли,—находимъ мы въ его воспоминаніяхъ о Щепкинѣ,—но онъ, такъ сказать, перерождался въ представляемое имъ лицо до того, что передъ поднятиемъ занавѣса, за полчаса, онъ ходилъ по сценѣ совершило отдельно отъ всѣхъ, окружавшихъ его, такъ что если бы кто приставилъ къ груди его пистолеть, онъ бы этого не замѣтилъ³.

Эта исключительная глубина и напряженность творческаго порыва заставляютъ вѣрить въ съѣдующія, на первый взглядъ какъ будто преувеличенныя, слова С. П. Соловьевъ о Щепкинѣ:

,Все совершающееся на сценѣ было близко его сердцу, и онъ никогда не могъ относиться къ нему равнодушно, въ его любви къ искусству было что то святое, религиозное: начинись гоненіе на драматическое искусство, какъ нѣкогда было гоненіе на христіансскую религию,—онъ быль бы первымъ мученикомъ⁴.⁴

Эта черта восхищаетъ. Но не менѣе важно и то, что въ сердцѣ Щепкина всегда чувствовалась святость того цѣломудренного отношенія къ театру, которое за громомъ рукоплесканій, вызововъ и за самой славой, непрерывно чуетъ какую то иную цѣль своего служенія искусству.

Въ эпоху блестательного торжества, когда Петровскій театръ, наполненный восхищенными зрителями, дрожалъ отъ восторженныхъ рукоплесканій, былъ въ театрѣ одинъ человѣкъ, постоянно недовольный Щепкинымъ: этотъ человѣкъ—быль самъ

¹ А. Нильский. „Закулисная хроника“, стр. 297.

² А. И. Шубертъ. „Моя жизнь“.

³ „Театральныя афиши и антракты“. 1864 г. 2 октября. Материалы для биографии М. С. Щепкина. Изъ записокъ режисера Полтавскаго театра Ижерса.

⁴ С. П. Соловьевъ. Изъ записной книжки стараго театра.

Щепкинъ. Никогда не былъ собою доволенъ взыскательный художникъ,ничѣмъ не подкупный судья! Эти слова Аксакова не пустая фраза. Когда шестидесятилѣтний Щепкинъ грустилъ, не находя подходящихъ ролей, ему были песни особы овации. Я черствѣю до гадости, писалъ онъ сыну, и мнѣ совѣстно самого себя, совѣстно выходить передъ публикой, а она, голубушка, такъ же милостива ко мнѣ, не видѣть, что къ ней на сцену выходитъ не артистъ уже, одаренный вдохновеніемъ, посвятившій всего себя своему искусству, но поденщикъ, неуклонно выполняющій и зарабатывающій свою задѣльную плату, иѣть, ей все равно! Выходитъ туловище, которое носить название Щепкина, и она въ восторгѣ. Грустно, страшно грустно! И затѣмъ со своей неумолимой правдой артистъ добавлялъ: Знаешь ли: мнѣ было легче было, если бы меня иногда ошибали, даже это меня бы порадовало за будущій русскій театръ; я видѣлъ бы, что публика умираетъ, что ей одной фамиліи недостаточно, а нужно дѣло.

Какъ назвать то, что блещетъ въ этихъ строкахъ, какъ не святостью? Святостью художественного самоанализа, ведущаго въ царство истинной свободы творчества. Ключи къ этому царству русскій театръ получилъ изъ рукъ Щепкина,—и уже въ одномъ этомъ непреходящемъ значеніе великаго артиста.

Но Щепкину, и прежде всего ему, хочется воздать дань и въ силу иныхъ причинъ.

Онъ — первый русскій актеръ. И этотъ приговоръ никто не станетъ оспаривать съ тѣмъ, чтобы передать драгоценный титулъ другому, на его взглядъ, болѣе талантливому корифею русской сцены. Въ подобныхъ сужденіяхъ — не только оцѣнка таланта. Тутъ еще больше касанія его основныхъ стихійно-цѣльныхъ свойствъ. Такъ, въ литературѣ ни одинъ изъ позднѣйшихъ писателей, не исключая и мирового по своему значенію Достоевскаго, не заставилъ насъ передать ему пальму первенства и перестать, какъ къ свѣту и солнцу, тянуться къ Пушкину. Пушкинъ силенъ своей цѣльностью, примиренностью, ясностью, и никому уже не найти такихъ законченныхъ и полнозвучныхъ словъ.

Подобное же чувство испытываешь и тогда, когда отъ другихъ великихъ переходишь, наконецъ, къ Щепкину. Что мы имѣемъ, кромѣ него? Былъ и не былъ Мочаловъ съ его всѣхъ плѣнившимъ оргазмомъ и всѣхъ смущавшей манерой игры. Былъ и не былъ гениальный Мартыновъ, тонкій лирикъ въ эпоху трагедіи и мелодрамы, оставившій по себѣ лишь дивную легенду, въ которой не захотѣли разобраться тѣ, что черезъ долгіе десятки лѣтъ вновь подняли то же знамя. Былъ и не былъ Живокини, всѣмъ дорогой и все же, какъ чуждая тѣнь, скользнувшій по русской сценѣ... Но Щепкинъ былъ,—въ этомъ одинаково убѣждаютъ и прошлое, и каждый день современного русского искусства.

И что за шумная толпа людей, съ устъ которыхъ невольно срывалось слово „гений“. Вотъ юноша Станкевичъ съ его мечтательной потусторонней мыслью. Какъ шеллингіанецъ, свято вѣрящий въ превосходство искусства надъ жизнью, онъ слиш-

комъ строгъ въ своихъ требованіяхъ формы. Онъ не всегда приметъ Каратыгина и порой лишь грустно покачаетъ головой при взрывѣ рукоплесканій послѣ Мочаловской ,минуты‘. Но Щепкинъ—гений, это онъ готовъ признать послѣ самого пустячного водевиля. Вотъ строгій красавецъ, профессоръ исторіи, Крюковъ, съ его всегда изящной, но чуть-чуть холодной манерой говорить о своемъ предметѣ. Онъ тоже щепкіанецъ до конца. И его соперникъ Грановскій, весь страсть и порывъ, не будетъ оспаривать этого миѳнія. За нимъ Герценъ, Гоголь и Бѣлинскій, которые, при всей перемѣнчивости взглядовъ, всегда сохранять преклоненіе передъ великимъ комикомъ и, въ концѣ концовъ, именно его назовутъ тѣмъ артистомъ, у которого пылкое вдохновеніе идетъ рука объ руку съ совершенствомъ формы. И Щепкинъ не только другъ ихъ. Нѣтъ! Это человѣкъ безконечно близкій всѣмъ имъ по своему эстетическому міросозерцанію, по культурѣ красоты, которая такъ одѣнивалась въ ту пору. Щепкинъ не одинокъ, онъ титанъ—собиратель, такъ какъ, только подслушавъ всѣ тайны прошлаго и взявъ все лучшее изъ его преданій, можно было такъ овладѣть своимъ искусствомъ, чтобы въ самыхъ реальныхъ роляхъ заставлять говорить и о правдѣ и объ изяществѣ.

Начнемъ съ водевиля. Развѣ не во всеоружії приступилъ къ нему артистъ? Щепкинъ рано поступилъ на сцену. Въ 1816 году, не имѣя полныхъ двадцати лѣтъ, онъ служилъ въ Харьковѣ, а черезъ пять лѣтъ уже дебютировалъ на Императорской сценѣ. Но все же ему пришлось застать цѣлое поколѣніе актеровъ, принятыхъ въ московскій театръ изъ театральной школы. Все это были искусники, обученіе которыхъ начиналось съ долгой балетной муштры. И хотя нашъ артистъ не прошелъ ея, онъ вполнѣ одолѣлъ искусство танца. Такъ, профессоръ Крюковъ говорилъ: „До какой степени художественность тѣлодвиженія важна въ дѣлѣ сценическаго искусства, этому живой примѣръ представляетъ нашъ несравненный Щепкинъ, когда, играя роль старого казака въ „Наталиѣ Полтавкѣ“, онъ привѣвая пляшетъ на сценѣ. Сколько простоты и добродушія въ этой плясѣ! Какой разгульный просторъ души выражается въ каждомъ движеніи и притомъ сколько благородства въ каждой позѣ“. Не хуже умѣль Щепкинъ спѣть водевильный куплетъ. Но всему отдавая дань, онъ все же всегда оставался самимъ собою. Въ водевиѣ онъ не поражалъ рѣзвостью, какъ Живокини. Но онъ и тутъ показывалъ всю яркость своего свѣтлого таланта. Шутка шуткой, но почему бы, и шутя, не вспомнить о хорошемъ? И какъ часто, читая старинный водевиль, такъ и знаешь, какую роль въ немъ игралъ Щепкинъ!

Прежде всего приходится вспомнить „Учителя и ученика“, А. И. Писарева, водевиль, неразрывно сочетающийся съ именемъ знаменитаго артиста, такъ какъ самъ авторъ объявилъ во вступлении, что успѣхъ его произведенія рѣшила игра несравненнаго Щепкина.

Когда читаешь эту шутку, невольно начинаетъ казаться, что водевилистъ имѣлъ въ виду артиста при самой обработкѣ своего труда. Его учитель Шеллингъ—пе-

дантъ, готовый рекомендовать юношѣ въ самыя тяжелыя минуты лишь греческіе переводы да опыты съ лейденской банкой. Клятва такого педагога—клятва „Юпитеромъ и Стиксомъ“. Мудрено ли, что онъ, какъ человѣкъ отвлеченного ума, не видитъ самыхъ близкихъ вещей и то и дѣло попадаетъ въ самое невозможное положеніе? Но авторъ, пожалуй даже во вредъ комизму положеній, объясняетъ поступки педагога не какъ промахи, а какъ порывы иѣжнаго сердца. Узнавъ, что Ипполитъ, который казалось, чувствамъ положилъ границы и сожалѣть лишь о томъ, что музы были всѣ дѣвицы, успѣль тайно жениться и прижить ребенка, добрый Шеллингъ начинаетъ лишь утиратъ слезы. „Я стану учить его дѣтей, вотъ все, чего желалъ я прежде смерти“, въ восторгѣ говорить онъ.

Этотъ мотивъ привлекательной трогательности порой еще ярче проявляется въ другихъ „щепкинскихъ“ водевиляхъ.

Въ „анекдотѣ въ лицахъ“, Давидъ Теньеръ, живописецъ онъ начиналъ пьеску веселымъ куплетомъ, который пѣлъ вмѣстѣ съ краскотеромъ Живокини.

О живопись! О даръ небесный!
Тебѣ что можетъ замѣнить?

выводилъ ноту за нотой Щепкинъ-Теньеръ:

О краскотерство! даръ чудесный!
Тебѣ что равнымъ можетъ быть?

вторилъ ему Живокини. И оба восклицали, что съ этими дарами, любезны и трудъ и бѣдность. Но плутяга-краскотерь, которому приходить въ голову вдохновенная мысль уговорить художника притвориться мертвымъ, чтобы его картины сразу возросли въ цѣнѣ, такъ и остается плутомъ. Зато не таковъ самъ Теньеръ. Несмотря на всю буфонаду, личность этого мечтателя обрисована трогательными чертами, а въ послѣдней сценѣ у него есть даже цѣлый монологъ: „О люди! люди! Сколько талантовъ задушено при первомъ блескѣ успѣха!“ Грозная бутада, которая не мѣшаетъ впрочемъ перейти къ заключительному куплету:

Коль мнимой смертью я теперь
Открылъ себѣ въ храмъ славы дверь,
Не будемъ ли мы правы,
Художники, пропѣть:
Для чести и для славы
Не страшно умереть!

Въ этой непритязательной шуткѣ, какъ и во многихъ другихъ, есть что то отъ проповѣди труда и правды, которую такъ любилъ Щепкинъ, часто повторявший стишокъ: „Честь и слава всѣмъ трудамъ, слава каждой капѣ пота!“ И какъ понятно, что онъ могъ играть комическія роли рядомъ съ величайшимъ изъ буфовъ Живокини. Его веселости онъ противополагалъ достолюбезность, его смѣху

оть себя—что то милое и изящное, и два артиста, до враждебного чуждые по взгляду на искусство, сближались въ общемъ отвращеніи къ грубому. Щепкинскій водевиль имѣлъ свою особую прелестъ. Недаромъ столько самыхъ серьезныхъ людей восхищались артистомъ именно въ этихъ роляхъ. И ихъ мнѣніе скрѣпилъ самъ Бѣлинскій, ставившій выше Городничаго и Фамусова щепкинскаго Москала Чарынина.

Въ наши дни обѣ этой пьесѣ вспомнилъ старый театралъ Чаевъ. И какъ характерно, что подъ его перомъ вновь ожили прежнія слова о красотѣ и изяществѣ типически-вѣрнаго образа. „Щепкинъ въ запачканныхъ дегтемъ холщевыхъ широчайшихъ шароварахъ, въ широкополой шляпѣ, съ длиннымъ погонялой-бичемъ, съ расплывшимся оть блаженства, загорѣлымъ лицомъ, съ подбитою до оселедца головою, точно сейчасъ прилетѣлъ на коврѣ-самолѣтѣ изъ Украины. „За Тетяну сто кинь давъ, бо Тетяну сподобавъ; за Марусю, пья-така, бо Маруся й не така. Чухъ, чухъ, чухъ, чухъ Тетянѣ чернобрива кохана“¹, наполовину говоромъ припѣвалъ онъ съ маленькимъ намекомъ на Гопакъ, подмигивая и любуясь жинкою... Степью, свѣжимъ здоровымъ воздухомъ, съ благоуханіемъ полевыхъ цвѣтовъ и травъ, смѣшаннымъ съ запахомъ дегтя дымкомъ теплины, тянуло со сцены въ освѣщенную аgioро зрительную залу... Все было схвачено живъемъ, списано съ натуры, а вмѣстѣ съ тѣмъ изящно-обаятельно красиво; даже пропитанный смолой и дегтемъ нарядъ гуртовщика-хочла просился на картину: до того онъ былъ красивъ и живописенъ на Михаилѣ Семеновичѣ¹.

Уклоны въ сторону серьезности и художественная типичность роднятъ водевильный стиль Щепкина съ его комедійнымъ стилемъ, достигавшимъ наибольшей пластичности въ любимомъ репертуарѣ мольеровскихъ ролей.

Артистъ игралъ Сганареля, Арнольфа, Гарпагона, Жоржа Дандена, и при его за-конченной передачѣ каждое слово, движение, пауза имѣли одну и ту же цѣль—съ новыхъ и новыхъ сторонъ освѣтить психологические переходы. Комикъ не могъ не помнить о томъ упрекѣ въ односторонности, который дѣлалъ драматургу Пушкинъ, и онъ вносилъ въ Мольера свой сценический корективъ. „Гарпагонъ только скупъ¹—съ этимъ никакъ не согласился бы тотъ, кто видѣлъ это лицо въ воплощении гениального артиста. Скупость скупостью, но когда заходила рѣчь о женитьбѣ на Маріаниѣ, похотливая страсть старика врѣзывалась въ память, какъ новая и незабываемая черта. „Посмотрите, говорилъ одинъ изъ рецензентовъ, съ какимъ нетерпѣніемъ онъ разспрашивается о ней, какъ хорошо подходитъ къ самой Маріаниѣ, какъ вѣрно подмѣчены пріемы дряхлаго старика, который бодрится, подтягиваетъ плечи, хочетъ нравиться, сладкорѣчитъ... Всѣ эти движения выражены такъ же ловко, какъ и движения просто скупого... Но вотъ Фрозина расписываетъ прелести Маріаны: старикъ расходился, у него текутъ слюни, и въ эту

¹ „Ежегодникъ Императорскихъ театровъ“. 1914 г. № 1, стр. 98.

самую минуту Фрозина просить за труды „на-водку“. Двѣ противоположныя страсти сошлись... Чѣмъ Гарлагонъ выражаетъ ихъ? Онъ молчть, его губы судорожно поводить, какъ будто съ нимъ дрожь; его глаза, до того разбѣгавшиеся, блестѣвшіе радостью, вперены вдали; оставляя руки отъ плеча до кисти въ висячемъ положеніи, Гарлагонъ быстро отмахиваетъ концами пальцевъ обѣихъ рукъ въ ту сторону, где стоитъ Фрозина, смотря по тому, справа или слѣва подходить она къ нему⁴. И нечего было гадать насчетъ общности этихъ жестовъ, какъ это дѣлали критикъ. Смутность самыхъ противоположныхъ чувствъ, вотъ настроеніе Гарлагона въ эту минуту.

А затѣмъ опять сила и яркость передачи, которая доходила до апогея въ заключительные моменты роли. Въ сценѣ кражи пкатулки, волосы становятся дыбомъ; а при словахъ: „все кончено! я умеръ, меня похоронили“—артистъ бросается на полъ и иѣсколько минутъ оставался недвижимъ. Характерное преувеличеніе, которое и тутъ указывало на опредѣленный стиль, заставляя говорить, что предъ зрителемъ не драма, а верхъ драматического въ комическомъ.

Въ томъ же стилѣ была разработана и роль Ариольфа, въ которой въ началѣ тридцатыхъ годовъ, до „Горя отъ ума“ и „Ревизора“, видѣли лучшее изъ созданій Щепкина. Тутъ также приходилось прежде всего указывать на то, что артистомъ ничего не упущенено, а отъ монолога до отдѣльного полустишия, отъ жеста до взгляда, все обдумано, все приворовано, и весьма счастливо, къ характеру Ариольфа⁴. А этотъ характеръ былъ постигнутъ глубоко и проникновенно.

Со „Школой женъ“ неразлучна легенда о томъ, что въ лицѣ Ариольфа Мольеръ, на себѣ познавшій муки неравнаго брака, отразилъ собственную тоску по безвозвратно ушедшей юности. И эту легенду воскрешала и игра Щепкина.

Въ стихахъ, обращаемыхъ къ Агнесѣ:

Негодница! дойти до этакой измѣны!
Забыть, чѣмъ жертвовалъ неблагодарной я,
За пазухой моей согрѣтая змѣя!

излились, казалось, все бѣшенство, все оскорблениѳ, вся ревность сѣдого любовника.

Ариольфъ замахивается, чтобы ударить измѣниницу и, встрѣтясь съ ею взглядомъ, стоитъ недвижимъ съ поднятой рукой. Слышавъ, какъ Щепкинъ сказалъ:

Я ждалъ ли этого убийственнаго взгляда,

и

Ну, помиримся же, шалунья, Богъ съ тобой—

нельзя, смыслясь, не пожалѣть о несчастномъ положеніи старика, влюбленнаго въ молоденькую дѣвушку, которая любить другого⁴.

„Пожалѣть, смыслясь“, это опять таки указаніе на опредѣленный стиль, котораго не переступалъ артистъ, не желавшій цѣликомъ переходить въ драму. Черта, которую

онъ успѣлъ отмѣтить и раньше, когда даже безрадостную мольбу: „Мой Богъ, за что жь тащусь я въ модные мужы“—произносилъ такъ, что зритель угадывалъ въ Арнольфъ „врожденную страсть къ эпиграфамъ“.¹

Пьесы Мольера Щепкинъ любилъ больше всего. На нихъ онъ учился. И это такъ понятно! Репертуаръ французского писателя прежде всего сцениченъ. Самъ актеръ, Мольеръ выработалъ ту манеру письма, при которой ни одно слово не говорится напрасно и каждая реплика несетъ динамический характеръ, находящій завершеніе въ определеніи мимикѣ и строго-законченномъ жестѣ. Артистъ любилъ рѣшать проблему каждой отдельной сцены, оживавшей лишь тогда, когда къ ней найденъ ея особый ключъ. Не въ этомъ ли и смыслъ старого, забытаго въ наши дни термина „отчетливость игры“?

Эта же школа сказалась и въ русской комедіи.

Прекрасный чтецъ, Щепкинъ удивительно произносилъ грибоѣдовскіе стихи, но ему, по собственному признанію, не удавалось дать въ Фамусовѣ барина. И все же артистъ многаго добивался путемъ контрастовъ. „Фамусовъ у себя, въ своей приемной сохраняетъ всю важность старинаго барина—хѣбосола, съ медленными и солидными движеніями, и тотъ же Фамусовъ подкрадывается къ Лизѣ уже совсѣмъ другою походкою, ступая на кончикахъ носковъ, чтобы не выдать себя шумомъ шаговъ и утаить свои проказы“, находимъ мы въ одномъ изъ отзывовъ. И ту же ясность и завершенность приемовъ можно прослѣдить по всей роли, переходя отъ одной рецензіи къ другой и всюду наталкиваясь на тѣ же яркія выраженія. Въ обращеніи Фамусова къ Чацкому, говоритъ А. А. Стаховичъ, тонъ Щепкина былъ не только ирониченъ, но почти презрительенъ. Постоянно слышалась ненависть къ противнику и взглядовъ и всѣхъ понятій почтеннѣйшаго Павла Аѳанасьевича. Какъ сейчасъ вижу на искаженномъ злобою лицѣ Щепкина какая появилась презрительная улыбка, я вижу жесть его рукъ, когда Чацкій произносилъ:

Я свatanьемъ не угрожаю вамъ.

Та же четкость и ясность и въ дальнѣйшемъ, вплоть до четвертаго акта, передача котораго сохранилась въ тщательной записи Льва Поливанова.

Восторженный театралъ двадцать разъ видѣлъ исполненіе „Горя отъ ума“, онъ смогъ восстановить каждый жестъ, каждую интонацію, каждую паузу въ игрѣ великаго артиста, и предъ нами и тутъ черты той неуклонной отдѣлки деталей, о которой говорять и другія рецензіи.²

Сюда! за мнай! скорѣй! скорѣй!
Свѣчей побольше, фонарей!
Гдѣ домовые?

¹ Цитаты взяты изъ отзыва „Сѣверной пчелы“ 1832 г. № 139.

² Левъ Поливановъ. Переводъ „Аѳанасія“ Расина и при немъ статья о русскомъ александрийскомъ стихѣ. Изд. 1892 г. О Щепкинѣ, стр. CL—CLIX.

Произнося эти слова, Щепкинъ сходилъ съ послѣднихъ ступеней лѣстницы и шелъ спѣшио по полуутемнымъ сѣнямъ впередъ, какъ бы не замѣчая стоящихъ на авансценѣ Чацкаго и Софью, приблизительно около половины глубины сцены внезапно замѣчаль вправо отъ себя Чацкаго и съ ироніей, довольно добродушной, продолжалъ:

Ба! знакомыя все лица!

Затѣмъ, обернувшись вѣво, замѣчаль Софью.

Лицо его мгновенно измѣнялось, онъ содрогался и, потрясая обѣими скжатыми руками на высотѣ подбородка, въ ужасѣ вскрикивалъ своимъ звучнымъ голосомъ:

Дочь, Софья Павловна! срамница!
Безстыдница! Гдѣ? Съ кѣмъ?

Но дрожь въ тѣлѣ, скжатыя руки, ужась—все это не мѣшало сейчасъ же дѣлать рѣзкій переходъ къ комизму.

Свиданіе дочери съ Чацкимъ напоминаетъ Фамусову легкомысліе его жены.

Ни дать, ни взять, она,
Какъ мать ея, покойница—жена,
Бывало, я съ дражайшей половиной
Чуть врозь—ужъ гдѣ нибудь съ мужчиной.

При этомъ a parte, Щепкинъ дѣлалъ два-три шага къ авансценѣ и говорилъ, то-номъ искренней наивности, всегда вызывавшимъ смѣхъ въ театральной залѣ неожиданнымъ контрастомъ этого комизма съ трагизмомъ предыдущихъ воскликаній.

И тѣ же черты дальше, и дальше, вплоть до угрозы надѣлать хлопотъ, подать въ сенатъ, министрамъ, Государю. Тутъ голосъ артиста „звенѣлъ отрывистыми и звучными возгласами“, такъ сильно дѣйствовавшими на зрителей, что они неизмѣнио покрывали послѣднія слова громомъ долго не смолкавшихъ рукоплесканий.

Піятеть къ великому артисту не помѣшаетъ сказать намъ, что эта игра, и эти восторги толпы напоминаютъ обѣ иномъ, чуждомъ намъ стилѣ.

Эффективность отдѣльного монолога можетъ еще побудить современнаго зрителя проводить аплодисментами артиста, создавъ ему такъ называемый „ходъ“. Но когда исполнитель остается на сценѣ, мы уже не аплодируемъ ему за отдѣльныя реплики. Все стало мягче теперь, но оно должно было быть рѣзче въ ту пору, когда геніальный артистъ училъ на великихъ образцахъ искусству вскрывать сценическое богатство роли.

Щепкинъ вскрывалъ это богатство до конца и былъ такъ виртуозенъ, что въ отзывахъ о его игрѣ мѣняетъ свой характеръ и наша рецензія. Сколько указаній

на каждый отдельный стихъ! Восхищались едва замѣтнымъ воскликаніемъ ,съ кѣмъ! въ той сценѣ ,Горя отъ ума‘, гдѣ Фамусовъ застаетъ дочь съ Чакимъ. Чуть брошенное слово автора возвышалось артистомъ до самой характерной черты, показывающей, что Павель Аѳанасьевичъ ничего не имѣлъ бы и противъ ночного свиданія, если бы оно было назначено другому. А споры о послѣднемъ стихѣ.

Ахъ, Боже мой, что станетъ говорить
Княгиня Марья Алексѣвна!..

Петербургскій исполнитель той же роли, Брянскій, дѣлая удареніе на словѣ что, тогда какъ Щепкинъ подчеркивалъ слова Марья Алексѣвна. Первое находили неправильнымъ, такъ какъ, что будетъ говорить княгиня, ясно и безъ того, тогда какъ лишнее подчеркиваніе этого имени какъ бы вводило новое лицо и тѣмъ создавало для пьесы прекрасный заключительный акордъ.¹

Такое совершенство говорить о глубокомъ изученіи роли. Но зритель не видѣлъ слѣдовъ кропотливой работы. Искреннее вживаніе и здѣсь обнаруживало свою все преображающую силу, и Герценъ могъ съ восторгомъ говорить о томъ, что ,игра Щепкина вся отъ доски до доски была проникнута теплой наивностью, изученіе роли не стѣсняло ни одного звука, ни одного движенія, а давало имъ твердую опору и твердый грунтъ‘.

То же говорили о Щепкинѣ и другіе: ,Не спрашивайте у него напередъ, что намѣренъ онъ сдѣлать, увѣряю васъ, онъ самъ того не знаетъ, онъ ничего не предвидѣтъ. Что у него вырывается изъ устъ—вырывается отъ души, и—невольно! Зрители жадно слѣдятъ за его игрою: эта жесть, эта шутка, сказанная такъ наивно,—какъ знать, можетъ быть вы ихъ болѣе не увидите? Чѣмъ чаще видите вы Щепкина, тѣмъ больше удовольствія доставляетъ вамъ игра его. Самыя ничтожныя роли при игрѣ его получаютъ колоритъ высокаго реализма. Смотрите: вотъ выходитъ онъ на сцену, вы забываете все, кромѣ его. Слова льются у него, исполненные живости... съ жаромъ, горячо пересказываетъ онъ свои чувства, пла-менѣеть... и вдругъ въ серединѣ какого нибудь монолога тихо произносить онъ главную мысль. Выраженія этого описать невозможно: оно не доступно ни для чьего угодно пера. Театръ оглашается рукоисканіями—данью чистаго восторга зрителей таланту необыкновеннаго комика‘. Такъ писалъ рецензентъ „Пантеона“, предпосыпая этому отзыву слова: ,Щепкинъ самобытенъ. Все, что въ немъ есть, это его, ошибается онъ, это его собственная ошибка: онъ презираетъ пробитыя тропы иль иѣть! онъ не знаетъ ихъ! чувство комической эстетики развито у него въ высочайшей степени‘.²

¹ Наиболѣе подробно о заключительной фразѣ говорить В.І. ,Отечественные Записки‘ 1849 г. 66 ст., театральная хроника.

² ,Репертуаръ и Пантеонъ‘ 1846 г., № 7, стр. 22. Московскій театръ.

Наряду съ ролью Фамусова надо поставить роли въ гоголевскихъ пьесахъ—Кочкарева въ „Женитьбѣ“, Утѣшительного въ „Игрокахъ“ и особенно Городничаго въ „Ревизорѣ“. Все это были законченные образы, гдѣ изображаемая личность постигалась не путемъ изученія виѣшнихъ деталей, а отливалась „заразъ, цѣльно, полно“ и все съ той же яркостью пріемовъ. „Нельзя разсказать проще, писалъ Аполлонъ Григорьевъ, о двухъ видѣніиъ во снѣ крысахъ, которыя пришли, понюхали и опять ушли. Нельзя съ большею искренностью завидовать Тяпкину-Ляпкину, что єздныій судъ такое благодатное мѣсто, въ которое никогда никто не заглядывалъ... Нельзя съ большимъ сознаніемъ своей правоты и морального превосходства укорять Тяпкина-Ляпкина въ вольнодумствѣ, нельзя болѣе отъ души давать обѣщаніе поставить пудовую свѣчку. Все живеть тутъ, осознательно является передъ зрителями, что хотѣлъ сказать великий поэтъ, и лицемѣре, и преступность, и загрубѣлость нравственная, и злость человѣка, который, не прибѣгая къ недозволеннымъ законамъ пыткамъ, кормить купцовъ селедкой“.¹

Загрубѣлость и злость—рѣзкія черты. Но и ихъ артистъ умѣлъ обводакивать дымкой красоты, такъ что Бѣлинскій противополагалъ его игру грубымъ пріемамъ Сосницкаго. ,17 мая мы пошли смотрѣть „Ревизора“. Городничаго игралъ Щепкинъ, въ первый разъ по пріѣздѣ изъ Петербурга, въ которомъ онъ оставилъ къ себѣ живую память. Роль Городничаго въ Москвѣ была опошлена во время его отсутствія, и тѣмъ нетерпѣливе желали мы увидѣть ее снова, выполненную великимъ художникомъ. И какъ онъ выполнилъ ее! Нѣть, никогда еще не выполнялъ ее такъ!.. Эта первый актъ, который всегда какъ то не удавался ему, былъ у него на этотъ разъ чудомъ совершенства. Какое одушевленіе, какая простота, естественность, изящество! Все такъ вѣрно, глубоко-истинно, и ничего грубаго, отвратительного; напротивъ, все такъ достолюбезно, мило! Актёр понялъ поэта; оба они не хотятъ дѣлать ни карикатуры, ни сатиры, ни даже эпиграммы; но хотятъ показать явленіе дѣйствительной жизни, явленіе характеристическое, типическое².

Характерность и типичность! Онъ такъ ярко сказывались въ творчествѣ Щепкина, что реальные образы выростали при его игрѣ до символически обобщенныхъ фи-гуръ. ,Въ лицѣ Фамусова и Городничаго у Щепкина являлись идеальные типы барства и официального начальства, какъ преобладающіе элементы большей половины текущаго столѣтія, писалъ князь Урусовъ, смѣло говоря о крупномъ историческомъ значеніи созданныхъ артистомъ типовъ.

,Въ Городничемъ онъ являлся высокимъ, идеальнымъ образомъ умнаго мошенника, огражденаго всѣми гарантіями благонамѣренности и глубокимъ сознаніемъ своего

¹ Москвитянинъ 1852 г. VIII, стр. 145.

² Бѣлинскій и здѣсь говорить объ изяществѣ Щепкина. И эту мысль подчеркивали не только члены кружка Станкевича. Ее находимъ и у другихъ театраловъ. Такъ, въ „Драматическомъ альбомѣ“ Арапова и Ронпольта писали: „Нѣть надобности отѣшнать красоты, изящества игры М. Щепкина“. 1850 г., стр. LXXXIV.

официального величия. То былъ героический, величавый мошенникъ, одаренный государственною мудростью, удивительною находчивостью; этого гениального плута, со всѣмъ его синклитомъ представителей разныхъ отраслей государственного благоустройства, дурачилъ вертопрахъ, глупый и пустой проѣзжій. Въ этой коллизіи виденъ былъ трагический смыслъ, который, конечно, совершенно исчезаетъ, когда въ другомъ исполненіи Городничій явится передъ нами мелкимъ, трусливымъ и пришибленнымъ плутомъ¹, писалъ критикъ.¹

Въ эти отзывы заставляеть вѣрить и восторженный голосъ самого автора.

Гоголь видѣлъ въ Щепкинѣ не только превосходнаго артиста. Въ его глазахъ это былъ величайшій знатокъ искусства, которому авторъ можетъ смѣло передовѣрить художественный замыселъ своей пьесы. „Вы должны непремѣнно изъ дружбы ко мнѣ взять на себя все дѣло постановки „Ревизора“... Нужно, чтобы вы переиграли хотя мысленно всѣ роли, услышали цѣлое всей пьесы и нѣсколько разъ прочитали бы самую пьесу актерамъ, чтобы они такимъ образомъ невольно заучили настоящій смыслъ всякой фразы, который, какъ вы сами знаете, вдругъ можетъ измѣниться отъ одного ударенія, перемѣщенаго на другое мѣсто или на другое слово², писалъ онъ, передавая московскому артисту права на всѣ свои драматические отрывки.

И какъ хочется именно теперь, послѣ словъ о великой типичности щепкинскихъ образовъ, указать на то, что и этому артисту было доступно самое великое приближеніе къ тому идеалу жизни-игры, когда реплика сцены сливается съ тономъ обыденной рѣчи. У насъ не будетъ и не можетъ быть въ этомъ отношеніи тѣхъ неисчерпаемыхъ материаловъ, которые открываютъ отзывы о Живокини, но отдельные показанія есть и тутъ. Такъ, когда въ сороковыхъ годахъ Щепкинъ былъ приглашенъ на гастроли въ Казань, онъ, поздоровавшись съ труппой, такъ натурально перешелъ къ первымъ фразамъ гоголевской комедіи, что окружающіе никакъ не могли взять въ толкъ, о пріѣздѣ какого ревизора онъ толкуетъ, и только послѣ вопросовъ артиста о дѣйствующихъ лицахъ поняли, что это былъ переходъ къ репетиції.² Теперь мы понимаемъ подлинную цѣнность этого разсказа. Непринужденность сквозь типичность! Въ этомъ крылась истинно-великая задача, къ решенію которой могли приблизяться другіе, но которую всего ярче выполнилъ лишь Щепкинъ.

Мудрено ли, что именно черезъ Щепкина, который выработалъ съ годами высокое спокойствіе³ и могъ воистину „дарствовать въ роли“, творецъ „Ревизора“ настолько постигъ обаяніе сценическаго искусства, что былъ готовъ низвести съ пьедестала роль автора. „Вамъ предстоитъ долгъ заставить, чтобы не для автора

¹ Александръ Ивановичъ Урусовъ, т. I, стр. 143.

² Русская Старина, 1880 г. Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ, разсказъ изъ его жизни У. В. Лохвицкаго.

пірсы и не для пірсы, а для актера-автора юдили въ театръ⁴, говорилъ онъ артисту.

Но, повторяемъ снова, эти слова Гоголя нельзя понимать, какъ дань признательности за вдохновенное исполненіе Городничаго. Стиль Щепкина отличался глубокимъ единствомъ. Далеко не за одну роль цвінилъ его Гоголь. И тотъ же князь Урусовъ заканчивалъ приведенный нами отзывъ словами: „Геніальныи ваятелемъ быль Щепкинъ и въ другихъ своихъ роляхъ, изъ которыхъ трудно назвать одну, не называя другой, такъ онъ прекрасны въ своемъ удивительномъ разнообразіи“. Щепкинъ былъ разнообразенъ, и его образы возвышались до идеальныхъ воплощений классовъ и сословій. Но все это достигалось лишь силой непосредственного творчества.

Почти со всѣхъ снимковъ въ роляхъ на насъ смотрить тотъ же мягкий щепкинскій образъ, такъ какъ артистъ не любилъ полагаться на парикмахерское искусство и путемъ наклеекъ и другихъ виѣшнихъ приемовъ до неузнаваемости мѣнять свое лицо. И тѣмъ не менѣе все заставляетъ вѣрить, что силой великаго вживленія въ роль, силой тона, пластики и умѣнія носить костюмъ артистъ достигалъ цѣлостнаго слиянія съ рисуемымъ типомъ.

— „Кто тамъ?“ „Матросъ“, отвѣчалъ онъ на вопросъ Жанетты. И когда передъ зрителями появлялся бодрый, свѣжій старикъ въ синей матросской курткѣ, въ красномъ жилетѣ со свѣтлыми металлическими пуговицами, съ kleenчатой шляпой и сумкой, неволько являлась мысль о томъ, какъ хорошо былъ артистъ въ этомъ нарядѣ.

Да, между этими матросскимъ костюмомъ и самой физіономіей старика было что то общее, какое то цѣлое, которое чувствуется, но не передается. Слѣдствіе ли это известной настроенности воображенія, уже приготовленного къ принятию впечатлѣнія, есть ли это, въ самомъ дѣлѣ, живое чувство сознанія при видѣ живой олицетворенной идеи, мы не беремся решить этого, знаемъ только, что это было чувство не мимолетное... нѣть! Щепкинъ продержалъ насъ подъ его вліяніемъ въ продолженіе всей сцены съ Жанеттою, этой поэтической сцены, совершенно наполненной чувствомъ возвращенія на родину¹, разсказывая провинциальный кореспондентъ Пантеона.¹

Это совершенство, обусловленное внутреннимъ проникновеніемъ въ роль, являлось, несмотря на кажущуюся бѣдность средствъ, высшимъ совершенствомъ въ разработкѣ роли: щепкинская игра перешла въ традицію, и некоторые исполнители Фамусова и Городничаго играютъ эти роли вполнѣ по методу Щепкина, заслуживаючи лишь одинъ упрекъ въ томъ, что въ ихъ игрѣ нѣть щепкинской мозы и огня. Но тутъ невольные оговорки.

¹ „Репертуаръ и Пантеонъ“, 1842, кн. XIII, стр. 27.

Во имя исторической правды не приходится замалчивать, что великій артистъ отдалъ дань и тѣмъ проходящимъ вѣяніямъ искусства, переодѣнка которыхъ наступила еще при его жизни. Мы говоримъ о щепкинскомъ драматизмѣ.

Эта сторона его творчества находила одно время большое признаніе. Въ серединѣ сороковыхъ годовъ Бѣлинскій объявлялъ даже настоящимъ амплуа артиста не роли Фамусова и Городничаго, а тѣ роли простыхъ людей, которыя требуютъ не только комического, но и глубокаго патетического элемента. Щепкинъ сближался съ Мочаловымъ, и именно ему приписывалось умѣніе заинтересовать зрителей судбою простого человѣка и заставить ихъ рыдать и трепетать отъ страданій какого нибудь матроса¹.

Но драма обыденныхъ людей не была такъ долго жданнымъ русской сценой драматизмомъ обыденности. И сближеніе съ бурнымъ трагикомъ, и термины ,рыдать‘ и ,трепетать‘, и брошенная тутъ же мысль о томъ, что Щепкинъ совладалъ бы съ ролью Лира, говорить совсѣмъ объ иномъ. Это былъ именно патетизмъ, какъ драматизмъ слезливой чувствительности, умѣстной лишь въ пору не отжившихъ еще преданій сентиментализма.

А они такъ еще были живы, эти преданія! На мелодрамахъ, когда театръ погружался въ полуумракъ, а изъ оркестра неслись звуки душераздирающаго tremolo, зри-тели едва могли видѣть сквозь слезы сцену, по которой металась несчастная Параша-сибирячка, прощаясь съ каждымъ угломъ родного дома. Въ этомъ порывѣ объединились всѣ, и старики не рѣшались сдерживать молодежь. Было ли бѣ это справедливо, когда еще такъ недавно они въ одиночку плакали надъ ,Бѣдной Лизой‘? И развѣ не узаконилъ это выраженіе пылкаго чувства самъ Карамзинъ, рассказалъ о послѣдней сладкой слезѣ, которую онъ утеръ на крыльцѣ берлинскаго театра, посмотрѣвъ драму ,ревельскаго жителя г. Коцебу‘?² Эти слезы не могли говорить о слабости духа. Ими плакалъ покоритель Кавказа Ермоловъ, и въ нихъ же открыто признавался самъ Императоръ Николай.

Аудиторію, заранѣе настроенную на высокій ладъ, можно было тронуть самыми невинными отрывкомъ, лишь бы въ немъ изображались чувства высокаго, не знающаго предѣловъ въ своихъ порывахъ благородства. Но именно такова знаменитая роль Матроса, который не только всѣмъ жертвуетъ для соперника, но и великодушно спасаетъ ему жизнь. Тѣмъ же настроениемъ вѣтеть и отъ ,Жакартова станка‘. Если не на себѣ, то на близкихъ людяхъ познавъ тяжкую долю крестьянина, артистъ вкладывалъ всю силу страсти въ стихи:

¹ Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинского, т. IX, стр. 261. См. также ,Русская сцена‘, мартъ 1864 г., драматическая библіографія. Авторъ очерка говоритъ о способности артиста передавать ,потрясающую скорбь‘, обѣ ,отчаянныхъ крикахъ‘ и ,поразительной силѣ‘ игры. О ,неистощимомъ запасѣ огня‘ говоритъ и Аксаковъ. Разныя сочиненія. Москва. 1858 г., стр. 265.

² Письмо Карамзина приводится у Варнеке—,Исторія русскаго театра‘, часть вторая, стр. 24.

Честь тому, кто глубь земли
 Тяжкимъ заступомъ копаетъ;
 Кто трудами для семьи
 Хлѣбъ наущный добываетъ;
 Кто надъ плугомъ льетъ свой потъ;
 Кто слугой у господина
 Ношу тяжкую несетъ
 Для жены своей, для сына:
 Честь и слава ихъ трудамъ!
 Слава каждой каплѣ пота...
 Честь мозолистымъ рукамъ...
 Да спорится ихъ работа!

Это чтеніе, которое часто характеризуется, какъ патетическое, производило неотразимое впечатлѣніе. Въ театрѣ водворялась глубочайшая тишина, и среди нея все росли и росли звуки задушевнаго голоса, въ которомъ все явственнѣе прорывалась слеза. И эта слеза не умирала одиноко. Въ ложахъ начинали мелькать поднесенные къ глазамъ платки, а при послѣднихъ словахъ артиста аплодисменты переходили въ бурную овацию.

Увы! это все потому переоцѣнили. Почти во всемъ совпадая съ Бѣлинскимъ, Аполлонъ Григорьевъ не раздѣлялъ его увлеченія драматизмомъ Щепкина и съ ироніей характеризовалъ порывы артиста поговоркой „глаза на мокромъ мѣстѣ“. Упрекъ въ слезливости дѣлалъ и П. И. Вейнбергъ. А изъ драматурговъ рѣшительно измѣнилъ Щепкину Тургеневъ, несмотря на то, что артистъ, играя Мошкина, рыдалъ настоящими слезами. Писателя больше восхищалъ Мартыновъ, тотъ самый Мартыновъ, котораго Бѣлинскій противополагалъ Щепкину, какъ артиста съ узко-комическимъ, чуждымъ патетического элемента талантомъ.¹

Но это такъ характерно! „Патетизма“ не пріобрѣлъ Мартыновъ и позднѣе. Онъ не переродился, а лишь вполнѣ развилъ ту сторону дарованія, которой не склоненъ былъ придавать значенія Бѣлинскій. Не говорить ли это за то, что русскій драматизмъ смѣнилъ свои краски? Или даже не смѣнилъ прежнее, а просто выработалъ иное, такъ какъ щепкинское было даже не началомъ, а первымъ предчувствіемъ еще не зародившейся драмы. Его матросовъ трудно было принять послѣ Большова или Кулигина. Но въ нихъ можно было вѣрить раньше, въ ту пору смутныхъ и загадочныхъ вѣяній, когда съ лихорадочностью произносилось имя лорда Байрона, когда ужасъ овладѣвалъ при отверженномъ имени Полежаева, а неопределѣнное чувство сувѣрнаго и вмѣстѣ обаятельнаго страха смыкалось какою то отчаянною, наивною симпатію къ рѣчамъ, которыхъ „значеніе темно ильничтожно, но имъ безъ волненія внимать невозможно“.² И какъ хочется характе-

¹ Соч. Бѣлинского, т. IX, стр. 261.

² Аполлонъ Григорьевъ. „Мои литературныя и нравственные скитальчества“. Отдѣльное изданіе 1915 г., стр. 99.

ризователь все это словами того же Аполлона Григорьева: „Такой вѣры больше ужъ не нажить, и хоть глупо жалѣть объ этомъ, а жаль, что не нажить. Хорошо было это все, какъ утренняя заря, какъ блестящая пыль на лепесткахъ цвѣтковъ“.

Наивная вѣра, такая характерная для утра любви къ высокому и прекрасному, приводить въ концѣ концовъ къ старому вопросу о зависимости драмы отъ смѣны нравственныхъ понятий. Переоценка щепкинскаго драматизма относится къ эпохѣ торжества чуждаго ему Островскаго. Но не потому ли былъ чуждъ артисту драматургъ, что несъ новое пониманіе жизни? Пусть болѣе глубокое и болѣе примиренное, но развѣ самая примиренность не говорить объ утратѣ той органической вѣры въ земную правду, при которой одинаково достолюбезны и трепетъ любви и пыль ненависти. Въ новыхъ пьесахъ все смягчалось, и мягкость взгляда неизбѣжно вліяла на стиль сценическаго толкованія. Нарисуйте схему движенія Городничаго и сравните ее съ той же схемой для роли купца Большого, ихъ разница всего яснѣе оттѣнитъ глубокое различіе двухъ школъ. А что тутъ была именно смѣна школъ, можно видѣть на примѣрѣ каждого изъ тогдашнихъ артистовъ. Прекрасные исполнители Фамусова, Щепкинъ и Самаринъ не любили Островскаго, а тяготѣвшіе къ нему Мартыновъ и Самойловъ чуждались Гоголя. Все примирило лишь позднѣйшее время. Но невольно напрашивается вопросъ: не было ли куплено это примиреніе цѣнной утраты многихъ свойствъ, полнаго моши и огня щепкинского стиля.

Въ упрекахъ Щепкину проскользнули, конечно, и проповѣдь по новому понимаемаго реализма и отрицаніе тѣхъ старыхъ принциповъ искусства, которые нѣкогда воспринялъ артистъ. Въ Щепкинѣ есть много школы, рутины и слѣдовательно (особенно теперь, онъ просто устарѣлъ) больше или меньше наростовъ. Въ Садовскомъ природный даръ, развитый кѣмъ и на комъ? На Гоголѣ и Островскомъ (мимо Мольеровъ и всего старья больше или меньше условнаго). Въ Садовскомъ вѣдѣ натура, правда, въ настоящемъ художественномъ осуществленії. Такъ писалъ композиторъ Сѣровъ, дѣля на двѣ рѣзкія грани правду старой и новой школы.¹

И вотъ старый артистъ выходитъ въ первой пьесѣ молодого драматурга „Свои люди—сочтемся“. Когда читаешь баженовскій отчетъ объ этомъ спектаклѣ, все время чувствуешь, что тутъ не единичные промахи, а полное недоумѣніе человѣка, рѣшительно сбитаго съ толку. Въ трехъ первыхъ картинахъ Щепкинъ совсѣмъ не давалъ чувствовать жестокости и грубости Большого. Когда же настала послѣдняя сцена четвертаго акта, онъ вдругъ забылъ о своемъ стремлѣніи „очеловѣчить“ своего героя и въ послѣднемъ обращеніи къ дочери въ его словахъ „слышалось

¹ „Русская Старина“, 1877 г., стр. 531. „Очерки о музыкѣ въ письмахъ къ Д. и В. Стасовымъ и М. П. Анастасьевѣ“.

только озлобленіе¹. Замѣчанія, навѣрно, падавшія какъ камень на грудь артиста, когда то впервые показавшаго страданія средняго человѣка. Но какъ было ему догадаться, когда авторъ говорилъ такъ туманно. О, если бы Большовъ переродился до конца и, покаявшись, просилъ уплатить все до копейки, Щепкинъ нашелъ бы краски для этого порыва и снова доказалъ бы, что ,и подъ синтромъ иногда бѣжитъ кипучая вода². Но плутъ такъ и остается плутомъ и просить лишь не обирать настолько, чтобы самому не влетѣть въ бѣду. Причемъ же тутъ страданіе? Вместо тона требовался полутонъ, и старый актеръ смолкалъ, уступая мѣсто новому поколѣнію.³ Жаль только, что Щепкинъ не отошелъ безъ гибва и не удержался въ концѣ концовъ отъ тѣхъ словъ о новомъ писателѣ, которыхъ не хотѣлось бы отъ него слышать.⁴

Впрочемъ, велика была и обида. Гоголь, величайший знатокъ сцены, творецъ совершенійшаго по своей структурѣ „Ревизора“, вотъ что переставало быть послѣднимъ словомъ. Но обожавшій писателя артистъ готовъ былъ съ нимъ бороться за чистоту его созданій. „Не давайте мнѣ никакихъ памековъ, что это де не чиновники, а наши страсти; нѣть, я не хочу вашей передѣлки: это люди, настоящіе живые люди, между которыми я взросъ и почти состарился... Нѣть, я ихъ вами не дамъ! Не дамъ, пока существую! Послѣ меня передѣлывайте хоть въ козловъ, а до тѣхъ поръ я вами не уступлю даже Держиморды, потому что и онъ мнѣ дорогъ“.⁴ Это письмо—вопль отчаянія. Но если можно было отмахнуться отъ мрачной символики мистическихъ толкованій, къ старому уже не было возврата. „Постоянны, живые люди“, люди единой воли и ясной цѣли смѣялись инымъ поколѣніемъ, и старая скорбь продолжала неумолимо звучать въ сердцѣ актера.

Щепкинъ умеръ подъ осень въ Ялѣ, куда его усыпали лечиться. 9 августа съ нимъ произошелъ апоплексический ударъ. Пролежавъ цѣлыхъ сутки безъ сознанія, онъ вдругъ вскочилъ съ постели и закричалъ: „Скорѣй, скорѣй одѣваться!“ „Куда Вы, Михаилъ Семеновичъ? Что Вы, Богъ съ вами, лягте“—удерживалъ его слуга Александръ. „Какъ, куда? Скорѣе къ Гоголю“. „Къ какому Гоголю?“ „Какъ къ какому, къ Николаю Васильевичу“. „Да что Вы, родной! Господь съ Вами, успокойтесь, лягте. Гоголь давно умеръ..“ „Да, вотъ что!“ низко опустилъ голову, покачалъ ею, отвернулся лицомъ къ стѣнѣ и на вѣки заснулъ⁶.

И все такъ часто начинаетъ казаться, что геніальный артистъ многое прощвалъ въ судьбахъ русской сцены.

¹ „Московскія Вѣдомости“, 1861 г., № 29.

² Это было трагедіей не только Щепкина. Ту же трагедію, наряду съ другими, пережилъ и лучшій артистъ петербургской сцены, И. И. Сосницкій. См. Сергѣй Бертенсонъ, „Дѣло русской сцены“, стр. 161.

³ Разумѣмъ его отзывъ о „Грозѣ“ въ письмѣ къ А. Д. Галахову. „М. С. Щепкинъ“, стр. 200.

⁴ Тамъ же, стр. 174.

Прекрасный наблюдатель, чьими рассказами восхищались и Пушкинъ, и Гоголь, и Шевченко, онь подобно имъ умѣлъ строго различать зерно живыхъ реальныхъ наблюдений отъ плевель дешеваго натурализма. Всматривайся во всѣ слои общества⁴, —этотъ совѣтъ сейчасъ же дополнялся у него словами: „не пренебрегай отдалкой сценическихъ положеній и разныхъ мелочей, подмѣченныхъ въ жизни; но помни, чтобы это было вспомогательнымъ средствомъ, а не главнымъ предметомъ“. Какъ часто забывался этотъ призывъ гениального артиста, и подѣлка подъ второстепенное и ненужное сходила за истинную наблюдательность. А осужденіе слезъ актера, который не гармонируютъ съ общимъ образомъ и врываются въ роль, какъ личное начало. Какъ далеко отклонилась отъ этого наша сцена, гдѣ истеричность и нервозность вызвали къ жизни такое странное понятіе, какъ амплуа неврастеника. А требование ансамбля? А призывъ къ совершенству формы? Все это завѣты, осуществить которые въ большей или меньшей мѣрѣ удавалось лишь тому театру, который гордится названіемъ „Дома Щепкина“.

Домъ Щепкина! Это сказано, конечно, въ подражаніе „Дому Мольера“. Но такое сравненіе не дышитъ ни преувеличеніемъ, ни натяжкой. Щепкинъ рано полюбилъ Мольера-драматурга и чрезъ него угадалъ образъ Мольера-актера и режиссера. И реформа нашего артиста-учителя глубоко совпадаетъ съ тѣмъ, что дагъ французской сценѣ тотъ великий реформаторъ, который прежде всего собралъ все лучшее, что было въ старой школѣ. Эту же общую, міровую правду принесъ намъ и Щепкинъ. И этимъ не умаляется его образъ, какъ не умаляется образъ Крылова отъ того, что его называютъ русскимъ „Лафонтеномъ“. Послѣ Щепкина были другие, въ чьемъ тихомъ, безпорывномъ, грустномъ, какъ тоскливый русскій пейзажъ, творчество отразились болѣе глубокія струны русской природы. Но все это неизбѣжно восходить къ нему и возможно лишь послѣ него, воистину первого русскаго актера.

„Есть преданіе, что въ предсмертныя минуты передъ умирающимъ является въ воспоминаніи вся прошлая жизнь его. Какая свѣтлая картина, какие дорогіе образы пронеслись мимо Щепкина, когда тихая смерть навсегда смѣшила ему очи!“, писалъ князь Урусовъ.¹ И съ образомъ великаго артиста не хочется разстаться, не бросивъ послѣдніго взгляда на его жизнь, такую же полнозвучную и радостно-свѣтлую, какъ и все его творчество.

Туть тоже увлекало очарованіе достигнутаго, найденного и завершенаго, прелестъ неумолчнаго сознанія правоты разъ взятаго пути. Эта черта всего ярче сказалась въ послѣднемъ спорѣ Щепкина съ Гогolemъ. Гоголь смиренныхъ мистическихъ настроеній, готовый сжечь рукопись своего лучшаго созданія, и Щепкинъ, чья религія была проста, какъ день, какъ яркій солнечный лучъ, могли ли они сойтись хоть въ чемънибудь? Но когда въ словахъ Щепкина зазвучала мысль о томъ,

¹ Князь Александръ Ивановичъ Урусовъ, т. I, стр. 137.

что сама жизнь есть радость, которую надо лишь освящать непрерывной любовью, когда онъ, безъ болзни всякаго, потому⁴, говорилъ, какъ хорошо ему теперь, хорошо до того, что иѣть молитвы за себя, а есть лишь скорбь о чужомъ горѣ, все это нашло путь къ самымъ глубокимъ чувствамъ Гоголя. На писателя пахнуло какой то старой, забытой за рѣчами отца Матвѣя правдой, и онъ, не въ силахъ сдержать своего порыва, бросился къ любимому другу, обнялъ его и въ восторгѣ воскликнулъ: „Оставайтесь всегда такимъ!“¹

Онъ такимъ и остался.

„Отзывъ полный и беспредѣльный на все, что завѣтнаго хранится въ груди моей, этотъ отзывъ читалъ я въ каждомъ взглядѣ его, въ каждомъ звуке его голоса. Дай Богъ побольше такихъ людей. Намъ нужны живые примѣры, намъ нужны личности, долговременной своею жизнью доказавшія, что на землѣ великое не тщетно²,—восклицалъ пе юноша, а зрѣлый педагогъ, испытавшій на себѣ очарование лучшихъ дѣятелей той эпохи.² И то же говорили сами эти дѣятели.

„Какая живая, свѣжая, поэтическая натура! Великій артистъ и великий человѣкъ и—стъ гордостью говорю это—самый иѣжинъ, самый искренній мой другъ³, воскликнулъ Шевченко.³

Отношеніе Бѣлинскаго къ Щепкину граничило съ влюбленностью. „Милѣйшему и дражайшему М. С. Щепкину тысяча привѣтствий, люблю его до страсти, и, если бъ вдругъ увидѣлъ въ Питерѣ, кажется, сомнѣй бы отъ радости,⁴ писалъ онъ Боткину. А въ письмѣ къ Герцену говорилъ о портретѣ артиста: „Какъ хороши портреты Щепкина! Слеза, братецъ мой, чуть не прошибла меня, когда я увидѣлъ эти старые, но прекрасныя, съ ихъ старостью, черты. Миѣ показалось, будто онъ, друзьяка, самъ вошелъ ко мнѣ. Кто хочетъ уѣдѣться, что старость имѣеть свою красоту, пусть посмотритъ на этотъ портретъ, если не можетъ видѣть подлинника“.⁴

Професоръ Погодинъ говорилъ о великому дарѣ Щепкина до старости сохранять свѣжее живое чувство доброжелательства къ людямъ, горячее участіе во всякомъ общественномъ дѣлѣ, неизмѣнную преданность своему искусству⁴ (М. С. Щепкинъ, стр. 291).

Мудрено ли, что культь Щепкина зародился еще при его жизни? „Артистическая жизнь нашего ветерана-артиста самое утѣшительное и примѣрное явленіе въ лѣтописяхъ русского театра; молодые артисты наши должны учиться у него и слѣдовать ему,⁴ писали еще въ сороковыхъ годахъ.⁵

¹ Ф. Буслаевъ. „Мои досуги“. Часть вторая, стр. 235—238.

² Библіотека для чтенія, 1864 г., августъ. Н. В. Соколовъ. Замѣтки о М. С. Щепкинѣ.

³ „Русская Старина“, 1877 г., стр. 292. Воспоминанія Г. П. Пасекъ, стр. 292.

⁴ Письма Бѣлинскаго подъ редакціей Е. Лядскаго, т. II, стр. 336 и т. III, стр. 95.

⁵ Санктпетербургскія Вѣломости, 1895 г., № 209.

СТИХИ

ИМЕНА

Гдѣ ты, Селимъ, и гдѣ твоя Заира,
 Стихи Гафиза, лютня и луна?..
 Жестокій лучъ полуденного міра
 Оставилъ сердцу только имена.

И пѣсь моя, тревогою палима,
 Не знать, гдѣ предѣль ея тоски,
 Гдѣ вѣтеръ надъ гробницею Селима
 Восточныхъ розъ роняетъ лепестки.

ТУЧКОВА НАБЕРЕЖНАЯ

Фонарщикъ съ лѣстницей, карабкаясь проворно,
 Затеплилъ желтый газъ надъ мутною водой,
 И плещется она размѣрино и минорно,
 И отблескъ красныхъ тучъ тускнѣеть чередой.

Тамъ Бирона дворецъ и парусниковъ снасти,
 Здѣсь блѣдный лучъ зари, упавшій на панель,
 Здѣсь вѣтеръ осени, скликающій ненастье,
 Срываетъ съ призрака дырявую шинель.

И всыхиваетъ газъ по узкимъ переулкамъ,
 Гдѣ окна сторожитъ глухая старина,
 Гдѣ съ шумомъ городскимъ, размѣреннымъ и гулкимъ,
 Сливаетъ отзовъ свой тяжелая волна.

Георгій Ивановъ.

*

Не вѣра воскресеня чуду,
На кладбищѣ гуляли мы.
Ты знаешь, миѣ земля повсюду
Напоминаетъ тѣ холмы.
Я черезъ овиди степная
Тянулся въ каменистый Крымъ,
Гдѣ обрывается Россія
Надъ моремъ чернымъ и глухимъ...

Отъ монастырскихъ косогоровъ
Широкій убѣгаеть лугъ.
Миѣ отъ владимірскихъ просторовъ
Такъ не хотѣлося на югъ!
Но, въ этой темной, деревянной
И юродивой слободѣ,
Съ такой монашкою туманной
Остаться—значить быть бѣдѣ!

II

Цѣлую локоть загорѣлый
И лба кусочекъ восковой;
Я знаю, онъ остался бѣлый
Подъ смуглой прядью золотой.
Цѣлую кисть, гдѣ отъ браслета
Еще бѣлѣеть полоса—
Тавриды пламенное лѣто
Творить такія чудеса!

Какъ скоро ты смуглянкой стала
И къ Спасу бѣдному пришла,
Не отрываясь цѣловала,—
А гордою въ Москвѣ была!
Намъ остается только имя:
Чудесный звукъ на долгій срокъ;
Прими жъ ладонями моими
Пересыпаемый песокъ!

Эта ночь непоправима,
А у вать еще свѣтло!
У воротъ Ерусалима
Солнце черное взошло.

Солнце желтое страшнѣе—
Баю баюшки баю.
Въ свѣтломъ храмѣ іудеи
Хоронили мать мою!

Благодати не имѣя
И священства лишены,
Въ свѣтломъ храмѣ іудеи
Отпѣвали прахъ жены;

И надъ матерью звѣйли
Голоса израильянъ.
Я проснулся въ колыбели,
Чернымъ солнцемъ осіянъ!

О. МАНДЕЛЬШТАМЪ.

Горятъ два солница пристальныхъ и строгихъ—
Зеленые и строгіе глаза.
И кудри—виноградная лоза,
Гдѣ съ тѣнью спорить блескъ лучей немногихъ.
И голось твой—затихшая гроза.

Не вѣрится, что говоришь со мною
Ты на земномъ, на скучномъ языке,
Какъ всѣ, склоняешься къ моей рукѣ,
Улыбкой улыбаешься земною
И о земной мнѣ говоришь тоскѣ.

И странно, что въ рукахъ твоихъ нѣтъ лилій,
Что за плечами нѣтъ спокойныхъ крылій.

Передъ вечеромъ мы шли среди поля,
И высокая трава не шелестѣла,
И дальнее озеро не блестѣло,
У вѣтра и солнца была отнята воля.
Затихшее небо Господу молилось
И на меня, спокойную, ласково смотрѣло,
И только въ рукѣ моей загорѣлой
Твое взволнованное сердце билось.

ИТАЛИЯ

Подобно крови, для того пролитой,
Чтобъ пѣсня родилась и не забылась,
Отчизна Данте и Филиппо Липпи,
Твое сладчайшее блаженство имя.
И вновь, тоскуя по родной чужбинѣ,
На сѣверѣ, гдѣ такъ коротко лѣто,
Что полюбить глаза не смѣютъ солнце,—
Благословенную я вижу землю,
Гдѣ, недвижимъ, ласкаетъ знойный воздухъ
Поющее и радостное тѣло
И гдѣ трепещутъ ангельскія крылья—
А у счастливыхъ то зовется вѣтромъ;
И золото ея садовъ я помню;
И краски мастеровъ ея святыя
Или влюбленныя; церквей прохладу
И тѣнинный запахъ ладана и лилій.
И вѣрю, тамъ, какъ въ старину, умѣютъ
Лежать крестомъ предъ статуей Мадонны,
Умѣютъ чтить обрядъ гостепріимства
И умирать умѣютъ отъ любви.

Анна Радлова.

* * *

Проснулся отъ шороха мыши
И видѣлъ большое окно,
Отъ снѣга бѣлая крыши...
А могъ умереть давно...

И кто бы вотъ этой ночи
Черныи, широкій слушалъ бѣгъ,
И чьи бы спокойныя очи
Увидѣли тихій снѣгъ?..

Съ дальней башни волнной лѣнивой
Вскользнулся чугунный ударъ...
О великое, великое диво,
Нестерпимый и сладкій дар!

* * *

Я изъ земныхъ годинъ не вѣренъ ни одной.
Здѣсь даже мудрый часъ истѣбеть и обманеть.
Но я люблю дышать далекою весной,
Чья зелень зашумить, когда меня не станеть.

Уже не воинъ дnia, еще не ставъ землей,
Я буду въ смертномъ снѣ внимать безумству жизни,
Молчавшей столько лѣтъ, чтобы гимнъ завѣтныи свой
Проѣть, блаженствуя, на этой бѣдной тризѣ.

И будетъ синій день прозраченъ и высокъ,
Какъ сердце зодчаго, когда къ высотамъ храма,
Надъ пламенемъ лампадъ, немыслимый цвѣтокъ,
Восходить въ первый разъ дыханье єниміама.

М. Лозинскій.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ

ВЫСТАВКИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДѢЛЯ

.Міръ Искусства'. Выставка этюдовъ, эскизовъ и рисунковъ

Н аходятся чудаки-критики, пытающиеся придать или хвалить выставки .Міръ Искусства' во всемъ ихъ составѣ. Понстинѣ они донкихотствуютъ, видя великана тамъ, гдѣ лишь мельница, видя идеиную группу тамъ, гдѣ лишь рядъ отдельныхъ художниковъ. Тѣмъ паче они донкихотствуютъ, что сами представители .Міръ Искусства' не однажды повторили намъ о своемъ желаніи быть только въ выставкой, но отнюдь не идеинымъ направлениемъ. Заѣмъ же эти ненужные попытки увеличить значеніе данныхъ выставокъ, когда обѣ этомъ не просятъ сами устроители? Взгромождать тяжелыя латы на мирныя плечи гражданъ, вкладывать рыцарскій мечъ въ руки, болѣе привыкшія къ гусиному перу или даже къ пряжѣ... Вотъ—медвѣжы услуги слишкомъ мечтательныхъ друзей! Посмотримте же на дѣло проще, и мы будемъ гораздо ближе къ истинѣ. Пусть назойливый скептикъ будетъ допытываться, что же означаетъ на самомъ дѣлѣ марка — .Міръ Искусства'; его успокоить очень легко, указавъ, что это отнюдь не знамя, а скорѣй дѣловoy знакъ, не манифестація какого либо движенія, а лишь выставка различныхъ художниковъ, сообща снявшихъ помѣщеніе. Пусть этотъ же или какой либо другой, столь же надобливый, скептикъ спроситъ: такъ почему же нѣкоторыхъ на эти

,внѣпартийныхъ' выставки принимаютъ, — ну, хотя бы такихъ, какъ Зельманова, Верейскій, Лагоріо, Симоновичъ, а нѣкоторыхъ, говорить, не принимаютъ?

Я обращаю вниманіе читателя на мою оговорку—говорятъ, такъ какъ для меня лично это только 'слухъ', который я не провѣряю и не хочу провѣрять, т. к. безусловно довѣряю вкусу жюри .Міра Искусства', которое уже въ теченіе многихъ лѣтъ подбирало членовъ своихъ выставокъ съ исключительнымъ изяществомъ и тактомъ. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ бы отличался .Міръ Искусства' хотя бы отъ 'лавочки Ауэра', если бы широко раскрыты двери рѣшительно для всѣхъ желающихъ. А между тѣмъ, я думаю, смѣшино и доказывать сейчасъ, что такое различіе есть, и есть оно именно потому, что .Міромъ Искусства' является опредѣленный подборъ. Нѣть никакихъ сомнѣній, что если жюри названного общества приходится дѣлать выборъ между какимъ либо буйнымъ и темнаго происхожденія неизвестнымъ и хорошо известнымъ своимъ пріемѣрнымъ поведеніемъ, а также своимъ искреннимъ намѣреніемъ познаться хотя бы немного живописью знакомымъ, то выборъ падеть на второго. Этимъ то объясняется участіе въ данной выставкѣ такихъ, какъ уже названные мной, или, напримѣръ, еще такихъ, какъ Дыдышко, какъ Кацъ, Шестопаловъ или Шитиковъ...

Итакъ, передъ нами выставка различныхъ художниковъ, которыхъ и сѣдуетъ, посему, рассматривать различно. Впрочемъ можно от-

мѣтить одну любопытную черту, чуть ли не общую всѣмъ участникамъ выставки: это—привлекающее разнообразіе вліяній, запечатлѣвшихся въ ихъ произведеніяхъ.

Такъ, въ прелестныхъ зимнихъ этюдахъ Билибина мы вдругъ находимъ отзвуки акварелей Щербова; въ тонко прочувствованныхъ пейзажахъ Добужинского встрѣчаемъ Крымова, а въ карандашахъ — неожиданное вліяніе Григорьева; въ недурныхъ опытахъ Шапиала въ одно тѣсто замѣшаны Матиссъ съ Нестеровымъ и Столицей; Мильманъ пробуетъ соединить Сезанна и Петрова-Водкина съ доморощенными достижениями, а Нивинскій бѣется надъ еще болѣе трудной задачей, примиряя Пастернака съ Лансере, Сарьяна съ Жуковскимъ. Однако не всѣ заражены такими все-примиряющими настроеніями; напротивъ, нѣкоторые поражаютъ своей исключительной привязанностью къ какому либо одному образцу. Такъ, Щекотихина съ достойной уваженія преданностью перепѣваютъ въ „Нечистомъ мѣстѣ“ Рериха; Ограновичъ въ „Вечерѣ на Капри“ — Коровина; Зилоти въ „Тигриѣ“ чуть ли не копируютъ Сѣрова, а Кругликова въ своихъ силуатахъ соперничаетъ со столь же пріятными силуэтами шутками Бенуа. Конечно, въ такой односторонности нѣть вовсе чего либо дурного; наоборотъ, слѣдуетъ привѣтствовать появленіе „школъ“ у такихъ мастеровъ, какъ Рерихъ, или Коровинъ, или Бенуа; мы ждемъ и заранѣе горячо привѣтствуемъ появленіе цѣлыхъ группъ такихъ „одностороннихъ“, однако они интересны именно какъ группы, тогда какъ ихъ выступленія позорны, пожалуй, и не имѣютъ опредѣленныхъ оправданій.

Тѣмъ болѣе, что они могутъ даже ввести въ заблужденіе; неопытный наблюдатель приметъ ихъ, пожалуй, не за „школы“, не за безобидные отраженія того или другого мастера, а за представителей „индивидуального“ теченія — особенныхъ во чѣмъ бы то ни стало, хотя бы цѣнной движеніи впередъ. Печальныымъ примѣромъ такого теченія является „Персей“ Калмакова; но, конечно, такихъ, какъ Щекотихина или Ограновичъ, мы только по недоразумѣнію могли бы причислить къ названному,

уже давно отжившему эпоху своего расцвѣта, движению.

Бразъ, Кончаловскій, Кустодіевъ, Линдеманъ, Машковъ, Нарбутъ, Остроумова-Лебедева, Чехонинъ — дали работы, столь согласныя съ уже установленвшимся нашимъ представлениемъ о границахъ и особенностяхъ ихъ мастерства, что, пожалуй, нѣть нужды здѣсь подчеркивать, что они ничуть не измѣнили однажды достигнутой имъ высокой техники. Можно только указать въ новую похвалу названнымъ художникамъ, что имъ удалось найти какія то линіи, удивительно согласующія ихъ другъ съ другомъ. Ранѣе такіе мастера, какъ, напримѣръ, Кончаловскій и Чехонинъ, намъ представлялись непримиримыми; однако теперь натюрморты Кончаловскаго или Машкова, съ ихъ весьма изящно вклѣнными въ холстъ обрывками газетъ и бутылочными этикетами, кажутся вполнѣ приличными панданами къ прелестнымъ рукодѣліямъ Сомовой-Михайловой и изумительно сдѣланымъ миниатюрамъ Чехонина.

Нѣсколько въ сторонѣ, какъ всегда, стоитъ Петровъ-Водкинъ съ его грандиознымъ портретомъ. Странный художникъ! „Москвичъ“, во что бы то ни стало стремящійся заразиться петроградской разсудочностью; сильный живописецъ, мицій себя литераторомъ... Зачѣмъ? Казалось бы, самъ духъ времени, да и исканія большинства современныхъ художниковъ влекутъ какъ разъ прочь отъ графичности къ живописи. Точно Петровъ-Водкинъ всячески хочетъ стать „мѣръ-искусникомъ“, хотя на самомъ дѣлѣ онъ... А кто онъ на самомъ дѣлѣ? Посудите сами, развѣ подлинный „мѣръ-искусникъ“ вздумалъ бы одно женское лицо раздвинуть на саженный холстъ, развѣ онъ сочеталъ бы столь жестко, даже непрѣятно, краску зрачка и брови со сплошной, лишь разбавленной бѣлилами, охрой кожи лица, какъ это дѣлаетъ Петровъ-Водкинъ?

Впрочемъ, вѣдь мы же условились считать „Мѣръ Искусства“ — только выставкой различныхъ художниковъ, и затѣмъ — гдѣ и въ какой группѣ Петровъ-Водкинъ показался бы своимъ? Странно положеніе этого страннаго мастера, игрой судьбы зачисленнаго чути

ли не въ тѣ же ряды никчемныхъ индивидуалистовъ, гдѣ фигурируютъ такіе, какъ Калмаковъ, когда всѣ особенности его дарования требуютъ обрамленія въ видѣ 'школы', когда онъ имѣть данныя, почти право, стать главой цѣлой живописной вѣтви!

Другое дѣло Григорьевъ, мастеръ совершенно не тоскующий по школѣ, однако шутя вербующій себѣ подражателей, и притомъ даже среди старшихъ своихъ соратниковъ, чудесными особенностями своего карандаша, чуть ли не собирающагося заполнить всѣхъ нашихъ рисовальщиковъ, и все таки—и здѣсь въ противоположность Петрову-Водкину—литераторъ, который никогда не станетъ живописцемъ.

Григорьева надо поздравить съ большой побѣдой; ему удалось (наконецъ то!) соединить столь различныя ранѣе у него техники, карандашную и маслянную. Теперь въ работахъ масломъ ему удается сохранить всю силу и всѣ особенности карандашныхъ набросковъ. Теперь онъ вдругъ предсталъ передъ нами, какъ художникъ очень цѣльный, чуть ли не законченный. Определенной законченностью, увѣренной силой своей руки Григорьевъ сейчасъ положительно господствуетъ надъ всей выставкой... я бы хотѣлъ сказать,—завершаетъ ее.

Въ его манерѣ, слишкомъ утонченной, до не-нужной приторности, слишкомъ законченно небрежной, до позы, мы не видимъ сильныхъ путей къ мастерству; въ его работахъ масломъ скорѣй мерещатся какіе то концы, а не начала, какіе то сладкія омиранія... Ужъ не намѣчаются ли въ немъ чemu то окончательные итоги?—въ немъ, такъ гармонично и такъ послѣдовательно возросшемъ на разнообразнѣйшихъ поискахъ и опытахъ многочисленныхъ выставокъ 'Миръ Искусства'.

Bc. Дмитриевъ.

Конкурсная выставка въ Академіи Художествъ

О тносительно академического преподаванія искусства въ публикѣ существуетъ трафаретный взглядъ, давно и твердо вкорени-

вшійся: Академія сушить, Академія не даетъ развернуться индивидуальности художника.

Со временемъ Стасова, кажется, это утверждение предваряетъ всѣ обсужденія конкурсныхъ выставокъ, и съ того же приблизительно времени действительность убѣдительно и упорно доказываетъ обратное, говорить о томъ, что упрекъ направленья совсѣмъ не въ ту сторону.

Академія не сушить, индивидуальности она даетъ развертываться какъ угодно и куда угодно. Бѣда не въ слишкомъ сильномъ и одностороннемъ вліяніи Академіи. Нехорошо то, что она не оказываетъ на художника вообще никакого вліянія. 'Индивидуальность' художника, окончившаго Академію, 'развертывается' на саженныхъ холстахъ съ откровенной ликостью и примитивностью. Онъ не умѣеть рисовать и не умѣеть писать, берется за историческія темы, не только не зная стиля, но даже не интересуясь покроемъ костюмовъ изображеній эпохи. Ему чужды основные принципы композиціи и элементарное пониманіе перспективы...

На званіе художника конкурировало въ этомъ году 16 живописцевъ; изъ нихъ двоимъ (Кучумову и Котову) присуждена заграничная поѣзда, и трое (между ними талантливый Митуричъ) не удостоились званія и не допущены на выставку. Конкурсъ небольшой, занимающей только половину обычно отводимыхъ подъ выставку залъ.

Среди конкурирующихъ художниковъ есть несомнѣнно одаренные люди, но почти всѣмъ картинамъ свойственны общія черты: большая неуверенность и приблизительность живописи и чрезвычайная беспомощность рисунка, какъ въ перспективномъ построеніи цѣла, такъ и въ построеніи отдѣльныхъ формъ.

Ни въ одной почти работе не видно настоящаго мастерства, т. е. признаковъ школы, и то хорошее, что спасаетъ многое изъ выставленного, должно быть отнесено цѣликомъ на счетъ дарования или темперамента художника. Исключениемъ въ этомъ смыслѣ являются только г-жа Уханова, показавшая въ своей небольшой картинѣ не только серьезное дарование, но и некоторую виртуозность рисунка

и живописи деталей (обидно, что перспективная ошлющность портить въ общемъ очень удачную „Хозяюшку“), и г. Слендзинский, сдѣлавшій неизрѣально сладкую, но во вскомъ случаѣ грамотную по рисунку и живописи „Идилю“.

Зато полное отсутствіе какого либо мастерства чувствуется въ большой картинѣ Кучумова „Венус“ . Фигуры поставлены неувѣренно и нетвердо (особенно крайняя лѣвая фигура), детали, какъ, напримѣръ, руки и головы фігуръ на заднемъ планѣ, нарисованы съ эскизной приблизительностью, въ живописи лѣзутъ впередь отдѣльныя, несвязанныя общей гаммой голубая и красная пятна кафтановъ, вся композиція однообразна и скучна и не оправдывает размѣровъ картины. Тѣми же чертами отмѣчена и вторая картина художника, неясная по построенію и скучная по красочной гаммѣ. При всемъ томъ, Кучумовъ несомнѣнно одаренный художникъ. Онъ обладаетъ настоящимъ темпераментомъ, во всѣхъ его работахъ есть подлинный картины замыселъ. Большая картина Котова написана неизрѣальной разбрѣзганной техникой, типичной для учениковъ Фешина изъ Казанской школы. Связь переднаго плана съ фономъ неясна, собаки кажутся вырѣзанными, земля, всѣдѣствіе неудачного техническаго приема, напоминаетъ больше коверъ, чѣмъ землю. Но мѣстами есть все же и настоящая живопись. Лучше и по живописному цѣлу и по рисунку его небольшая картина „Письмо съ родины“. Однако и всѣ хороши черты котовскаго творчества, его сильное чувство натуры, свидѣтельствуютъ больше о данныхъ его дарованія, чѣмъ о школѣ. Безпомощна и по рисунку и по композиціи картина Катуркина. Первоцѣлнанная фигура, поставленная спиной, не стоитъ на сиѣгу, и одна нога ея короче другой. Перспективное цѣлое иллюсно, живопись измѣльчена и спутана.

Въ картинѣ Петроченка, написанной съ большой хлесткостью, но безъ всякаго мастерства, всѣ фигуры перспективно перепутаны. Эскизность работы не позволяетъ входить въ разсмотрѣніе рисунка деталей. Тѣми же чертами поверхности отношенія къ формѣ и

какої то забѣженности цвѣта отличаются произведения Носка, Трофименка, Шатана, Ионикова и Архипова.

Картина Космина не обладаетъ никакими достоинствами и по вульгарности темы и трактовки выходитъ за предѣлы художественного разсмотрѣнія. „Весна“ Попова фотографична и суховата, но сдѣлана все же съ иѣкоторымъ умѣніемъ и любовью къ детальному изученію природы.

Изъ скульптурныхъ произведеній сдѣлуетъ отмѣтить барельефъ Манизера „Гіївъ Ахилла“, недурной въ этомъ смыслѣ, но совершенно лишенный стиля, т. е. того, что единственно могло бы сдѣлать интереснымъ иѣсколько трафаретную и по идеѣ и по формѣ композицію.

Незначительны и неумѣлы работы единственнаго конкурента граверной мастерской Мартынова. Среди работъ учениковъ „мастерскихъ“ останавливаютъ вниманіе произведения Френца и рисунки Коварского, сдѣланные съ темпераментомъ подлиннаго художника.

Итакъ, среди окончившихъ есть художники одаренные, какъ Кучумовъ, Уханова, Котовъ, но почти ни въ одной изъ выставленныхъ картинъ иѣть признаковъ школы, т. е. того преемственного мастерства, которое составляетъ сущность академического искусства и преподаваніе котораго является цѣлью академического обучения.

Печально, но кажется всѣ признаки преемственности художественной культуры исчерпываются тулупомъ на „Ярмаркѣ“ Катуркина, определенно ассоциирующимся со знаменитой спиной на рѣчинскихъ „Запорожцахъ“, и отраженіемъ грозовой тучи у Попова, назойливо напоминающимъ извѣстный мотивъ проф. Дубовского, лишь иначе раскрашенный. Врочемъ, признаніе авторитетовъ проявляется у иѣкоторыхъ художниковъ и иныхъ путемъ, напримѣръ, увѣковѣчненіемъ самого профессора въ центрѣ композиціи, какъ на картинѣ „Пѣнинные гусары“ Трофименка.

Н. Р.

— Въ библиотекѣ Академіи Художествъ были выставлены рисунки и наброски изъ альбома покойнаго П. О. Ковалевскаго. Среди нашихъ баталистовъ онъ выдѣляется умѣлымъ, опрятнымъ рисункомъ, о чёмъ говорять и выставленныя работы. Все это, очевидно, сдѣлано непосредственно съ натуры, умѣло, но сухо и холодно—типичныя работы, батальной мастерской. Интересный контрастъ съ ними представляютъ рисунки и наброски, сдѣянные на войнѣ художникомъ—архитекторомъ Соллогубомъ и показанные авторомъ въ одномъ изъ собраний Общества архитекторовъ—художниковъ. Рисунки эти, выполненные чернымъ и цветными карандашами, оригинальны по манерѣ, перво и ярко передаютъ непосредственную впечатлѣнія художника и наглядно говорятъ о разницѣ между воспріятіями батальной натуры на войнѣ и въ мастерской.

— Въ помѣщеніи Женскихъ курсовъ высшихъ архитектурныхъ знаній В. Ф. Багаевой было устроена выставка выпускныхъ работъ на тему „Усыпальница павшимъ воинамъ“. Всего по классу Л. А. Ильина и А. Е. Елкина окончило 12 ученицъ, изъ которыхъ ученица Андріасова за проектъ въ армянскомъ стилѣ удостоена заграничной командировки. Остальные программы, среди которыхъ надо отмѣтить работы ученицъ Левицкой, Дмитревой, Равицкой, исполнены въ формахъ классицизма. Были также выставлены другія работы выпускныхъ ученицъ и показательныя работы, иллюстрирующія порядокъ занятій на курсахъ, во главѣ которыхъ стоятъ Щуко и рядъ талантливыхъ архитекторовъ—художниковъ. Число ученицъ на курсахъ очень растетъ (сейчасъ около 300), и помѣщеніе настоятельно требуетъ расширения.

— Выставку этюдовъ, эскизовъ и рисунковъ „Миръ Искусства“ посѣтило свыше 5.000 человѣкъ. Картина продано приблизительно на 18 тыс. рублей.

— На выставкѣ Чиркова было около 4.000 посѣтителей; картина продано почти на 18 тыс., причемъ комиссией Общества имени Куинджи приобрѣты картины „Обѣдающіе китайцы“ за 500 р. и „Горныя вершины“. Академической комиссией не приобрѣто ни одной картины.

Нѣсколько картинъ пожертвовано вдовой художника для провинціальныхъ музеевъ.

— Въ „Петроградской Газетѣ“—интервью съ В. Маковскимъ обѣ отчетной академической выставкѣ. Маститый профессоръ въ восхищеннѣ отъ выпущенныхъ учениковъ: „Ученикъ Шатанъ оказался положительно выше себя“, авторъ прекрасной картины „Венусъ“ Кучумовъ—большой художникъ съ большимъ подъемомъ, получившій медаль Виже-Лебренъ Косминъ—превосходный художникъ и т. д. Какая, подумаешь, идиотія въ Академіи! Ученики имитируютъ маститаго профессора и другихъ старцевъ—передвижниковъ, а профессора умиленно и восхищенно поглаживаютъ ихъ по головѣ...

— Въ Татьянинскомъ комитетѣ съ благодарностью принято предложеніе Н. К. Рериха передать въ пользу пострадавшихъ отъ войны весь чистый доходъ съ устраиваемой имъ выставки своихъ произведеній и 10 процентовъ отъ продажи картинъ.

— По инициативѣ Н. К. Рериха совершенно преобразованъ характеръ постоянныхъ выставокъ въ Обществѣ поощрѣнія художествъ. Прелестно назначенный для нихъ залъ бывалъ обыкновенно загроможденъ болѣе чѣмъ посредственными произведеніями современныхъ художниковъ, какъ бы написанными для рынка; теперь въ немъ размѣщены старинныя картины музейного характера изъ коллекцій барона Врангеля, Лазаревича, Цебриковой, Ушакова и др. Но для продажи будуть выставляться и произведения современныхъ художниковъ. Процентъ Обществомъ берется весьма невысокий, и новая система очень удобна для коллекціонеровъ, желающихъ продать принадлежащія имъ художественные произведенія или пополнять свои собранія.

— Устройство посмертной выставки произведеній К. Е. Маковскаго въ Академіи Художествъ переносится на февраль 1918 г., въ виду того, что сейчасъ невозможно получить значительное количество произведеній покойнаго изъ Парижа. Благодаря этой перемѣнѣ, Академіей разрѣшено устроить посмертную выставку И. Е. Крачковскаго съ 28 декабря 1916 г. по 1 февраля 1917 г.

— Въ соединенномъ засѣданіи правленія и художественнаго совѣта Еврейскаго общества поощренія художествъ рѣшено устроить выставку картинъ евреевъ-художниковъ. Въ составѣ комитета по устройству выставки въ художественномъ бюро Н. Е. Добычиной вошли Альтманъ, Анифельдъ, Блохъ, Бродскій, Геллеръ, Гинцбургъ, Соломоновъ, Троупянскій, Шагаль и др. Кстати, отдѣленія общества открылись въ Кіевѣ и Харьковѣ. Повидимому, это все признаки постепенного отданія еврейскихъ художниковъ отъ русскихъ.

— Снова мозолять глаза на всѣхъ заборахъ и стѣнахъ плакаты военного займа 1916 г., заказанные гг. Владимирову, Зейденбергу, Максимову, Чеццову и Эберлингу. Если бы успѣхъ займа соразмѣрился съ художественностью плакатовъ, едва ли онъ бы былъ значителенъ. Во всякомъ случаѣ съ такимъ же успѣхомъ можно было бы обойтись безъ не-производительной траты на посредственное художество. Неосвѣдомленность заказчиковъ плакатовъ въ современномъ художествѣ гравитируетъ съ нѣвѣжествомъ, ибо иначе они обратились бы къ кому нибудь изъ столь многочисленныхъ у насъ мастеровъ декоративной живописи и графики.

— Академіи Художествъ предложено избрать представителей для пріема памятника Минину и Пожарскому въ Нижнемъ Новгородѣ, исполненного по премированному Академіей проекту скульптора Симонова.

— Въ Москвѣ въ помѣщеніи Художественнаго салона была устроена выставка „Бубновый валетъ“ въ пользу общества по оказанію помощи дѣтямъ запасныхъ, съ участіемъ и такихъ художниковъ, какъ Лентуловъ, Д. Бурлюкъ, издавшій отдельной брошюрой поясненія къ своимъ картинамъ, и „супрематисты“. Представители новѣйшихъ течений, повидимому, намѣрены объединиться въ ежемѣсячномъ журналѣ „Supremus“, который начнетъ (?) выходить въ Москвѣ съ декабря или января и будетъ посвященъ живописи, декоративному искусству, музыкѣ и литературѣ. Главные организаторы и участники — Малевичъ, Розанова, Пуни, Экстеръ, Клюнъ, Миньковъ и др.

— На годичномъ общемъ собраниіи членовъ московскаго Общества любителей старины избраны: предсѣдателемъ совѣта — В. К. Трутовскій, товарищемъ предсѣдателя — кн. П. С. Вадольскій, казначеемъ — С. Ф. Фрацици и секретаремъ — Л. С. Айзенштатъ. Общество любителей старины, имѣющее цѣлью изученіе произведений художественной старины, разработку вопросовъ искусства, охрану памятниковъ старины и объединеніе лицъ, интересующихся этими вопросами, возникло и организовалось почти наканунѣ европейской войны; поэтому Общество не успѣло провести въ жизнь большинство своихъ проектовъ, среди которыхъ слѣдуетъ отмѣтить: устройство выставки предметовъ художественной старины, производство анкетъ среди коллекціонеровъ, аукціоны античныхъ вещей, изданіе собственнаго periodического органа. Однако, несмотря на вынужденное бездѣлѣство Общества, вызванное общими причинами, число членовъ продолжаетъ расти.

— Изслѣдованія академической комисіи выяснили, что штукатурка, на которой написанъ цѣлый рядъ фресокъ Спаса Нередицы, отстала отъ стѣнъ, и сотрясеніе отъ проходящихъ по строящейся дорогѣ поѣздовъ уже несомнѣнно грозитъ гибелю этимъ драгоценнымъ памятникамъ русской живописи XII в. Для устройства насыпей варварски срываются холмы Спаса Нередицы и другіе холмы всего урочища, причемъ уже обнаружены сѣды неизученныхъ и гибнущихъ археологическихъ богатствъ. Одновременно выяснилось, что и практически гораздо разумнѣе было бы проведеніе дороги съ южной стороны города. Словомъ, чѣмъ дальше, тѣмъ ярче встаетъ дикая и нелѣпая картина можетъ быть самаго варварскаго вандализма нашего времени. Къ сожалѣнію, виновники его не подлежатъ уголовной ответственности, а пригажденіе на всегда къ позорному столбу нѣвѣжства и низменныхъ расчетовъ едва ли страшитъ такихъ дѣятелей, какъ предсѣдатель новгородскаго общества любителей древности Аничковъ и другіе новгородскіе „граждане“, а также строители-инженеры, содѣствовавшіе интересамъ этихъ „гражданъ“.

—Впрочемъ, немногимъ лучше и петроградскіе граждане. Вѣроятно, ни въ одномъ европейскомъ городѣ невозможно такое неуваженіе къ памятникамъ великихъ людей, какое проявлено у насъ къ памятнику Петра Великаго Растрелли на Инженерной площади. Буквально на разстояніи аршина отъ памятника проложены рельсы для удобства трамвайного разъѣзда или какихъ нибудь подвозовъ на давно уже изуродованную разными утилитарными сооруженіями прекрасную старинную площадь. Изуродованіе довершено, а ветхому памятнику, возможно, также грозить гибель отъ постоянныхъ сотрясений при прохожденіи вагоновъ.

—Недавно была произведена ревизія Московскаго музея Александра III. Выяснился недочет музейныхъ суммъ—около 16.000 рублей. Ученый секретарь музея приватъ-доцентъ Назаревскій, внесшій на покрытіе недочета около 12.000 руб., оставляетъ свою должность. По слухамъ, уходитъ и директоръ музея, проф. Мальмбергъ. Что это? Неосторожность въ веденіи дѣлъ? или тоже доблестная гражданская ответственность ученыхъ мужей?

—На мѣсто скончавшагося К. Лебедева двѣстичетырнадцатомъ членомъ Академіи Художествъ утвержденъ художникъ Виноградовъ, членъ Союза русскихъ художниковъ. Окончился пятилѣтній срокъ избрания для преподавателей Высшаго художественнаго училища Дружинина, Дмитріева, С. Бѣллева, Покрышкина и Полѣщука. На слѣдующее пятилѣтіе въ по-слѣднемъ академическомъ собраниіи намѣчены все тѣ же. Въ Академію поступило ходатайство о денежныхъ прибавкахъ преподавателямъ Одесского художественнаго училища, свидѣтельствующее, насколько ничтожно у насъ содержаніе художниковъ—педагоговъ. Инспекторъ Одесской школы получаетъ, напримѣръ, жалованья только 1.200 руб., а въ виду современной дороговизны предположена прибавка ему за полгода... 60 руб. Содержаніе преподавателей, конечно, еще ограниченнѣй. Въ Тифлісской школѣ живописи и скульптуры съ разрѣшеніемъ Академіи Художествъ въ виду вздорожанія жизни платы за обученіе повышена съ 40 до 60 р. Неужели нельзя было

изыскать иныхъ средствъ увеличенія бюджета? Вѣдь вздорожаніе жизни особенно тяжело отзывается именно на необеспеченнѣхъ, какъ во всѣхъ школахъ, ученикахъ.

—За послѣднее время Музеемъ Александра III сдѣлано много приобрѣтеній. Дополненіемъ свѣдѣнія, приведенные въ №№ 6—7 „Аполлона“. Приобрѣтена цѣлая серія работъ Рѣпина—рисунки къ „Дочери Таира“, рисунки, портреты, этюды, раннія классныя работы. Рѣпинъ же пожертвовано 103 рисунка Сѣрова, исполненныхъ, когда Сѣровъ работалъ въ мастерскихъ Чистякова (вмѣстѣ съ Врубелемъ) и Рѣпина. Отъ Л. А. фонъ-Дервизъ поступила картина Ге „Выходъ въ Геесиманскій садъ“. Семьеи Л. Г. фонъ-Дервизъ пожертвованъ рядъ картинъ К. Маковскаго, Рачкова, Ковалевскаго, Ницуса, Е. Волкова, Морозова, Зичи (автопортретъ), В. П. Верещагина, Воробьевъ (постройка Исаакіевскаго собора). Особенно цѣненъ даръ кн. В. Н. Аргутинскаго-Долгорукаго: „Голова Іоанна“—рис. Александра Иванова, рисунки-портреты Крылова и Оленина и пейзажъ „На Волховѣ“ работы Кипренскаго, двѣ акварели А. Е. Мартынова. Поступили также и уже помѣщены въ Музей: автопортретъ гр. Ф. Толстого, женскій портретъ Неффа (даръ М. П. Обручевой), „Видъ Херсонеса“ М. Иванова, варіантъ декорации къ „Пиру во время чумы“ Александра Бенуа, скульптура Обера („Жаба“), кн. П. Трубецкого („Натурщица“) и Е. А. Лансере (4 статуэтки). Кромѣ того, у Тевяшева приобрѣтена коллекція рисунковъ, гравюръ и литографій старинныхъ русскихъ художниковъ. Пріобрѣтено также много оригиналовъ и оттисковъ графическихъ работъ Александра Бенуа, Сомова, Юона, Кругликовой, Кардовскаго, Чемберса, Нарбута, Шарлемана и др. Вообще, несмотря на войну, жизнь въ музѣи идетъ напряженно. Можно считать уже совершившимся прекрасное начинаніе, о которомъ у насъ своевременно сообщалось,—устройство библіотеки музея. Внизу уже существуетъ отдѣльный залъ, гдѣ собрано не мало панохъ съ оригиналами и фотографіями. Къ сожалѣнію, пока еще не можетъ быть устроенъ залъ для занятій. Дѣло это чрезвычайно живое, необходимое и безконечно ра-

стущее. Конечно, оно вызывает самые лучшие пожелания. Къ сожалению, ходить упорные слухи, что один из главных его начинателей и вообще дѣятелей музея П. И. Нерадовский по какимъ то причинамъ оставилъ должность завѣдующаго художественнымъ отдѣломъ. Трудно допустить, чтобы администрація музея не цѣнила такого дѣятеля.

— Въ Обществѣ архитекторовъ-художниковъ обсуждался вопросъ объ избраниі въ составъ общества членовъ-сотрудниковъ, объ органѣ Общества „Еженедѣльникъ“ и о любопытномъ австралийскомъ конкурсе. По инициативѣ англійского посла, срокъ объявленного еще до войны въ Лондонѣ международного конкурса на составленіе проектовъ зданія парламента въ Австралии продолженъ до 1 апреля, чтобы дать возможность принять участіе и русскимъ архитекторамъ. По конкурсу учреждается рядъ премій, причемъ первая почти въ 30 тыс. рублей на наши деньги, а послѣднія около 3.000 руб. Въ международномъ жюри изъ 5 членовъ отсутствуютъ представители русскаго искусства. Подробныя условія конкурса напечатаны въ Архитектурно-художественномъ „Еженедѣльнике“.

По объявленному Обществомъ конкурсу проектъ доходного дома на Садовой улицѣ первая премія въ 2000 руб. присуждена Замечеку и Зелигеру, вторая въ 1200 р.—Юнгеру и Апраксину, третья въ 1000 р.—Серафимову, четвертая въ 800 р.—Васильеву. Кромѣ того, рекомендованъ проектъ Любарскаго, Эделя и Степанова. На конкурсе проектовъ столбовъ для уличныхъ газовыхъ фонарей, объявленномъ по порученію городской управы, первая премія въ 500 р., третья въ 400 р. и шестая въ 250 р. присуждены Тихонову, вторая въ 150 р.—Тихомирову, четвертая и пятая въ 300 р.—Лангбарду.

— Состоялось учредительное собрание Украинскаго литературно-художественного общества, задача котораго объединять художниковъ, литераторовъ, музыкантовъ и артистовъ для содѣйствія развитию литературы и искусства.

— Въ Обществѣ поощренія художествъ состоялся рядъ аукціоновъ. Особенно интересенъ и разнообразенъ былъ устроенный общиной

св. Евгениі 4 декабря, гдѣ наряду со старинными работами были работы многихъ современныхъ известныхъ художниковъ, преимущественно изъ группы „Миръ Искусства“.

— Издательствомъ „Свободное искусство“ выпущена богато изданная книга о Рерихѣ съ огромнымъ количествомъ иллюстрацій, исполненныхъ различными способами, причемъ не мало въ краскахъ, съ рядомъ статей—Балтрушайтиса, Александра Бенуа, Гидони, А. Ремизова, самого Рериха („Сказки и притчи“), съ подробнымъ перечнемъ его произведеній. Книжныя украшения исполнены Левитскимъ и Нарбутомъ, а въ началѣ приложенъ портретъ Рериха въ краскахъ, написанный Кустодіевымъ въ 1915 г., очень удачный и хорошо воспроизведенный. Литературная сторона изданія, включая интересныя статьи Александра Бенуа и „Жерлицу дружинную“ А. Ремизова, свидѣтельствуетъ объ удачной попыткѣ издавать сборники о художникахъ, что, впрочемъ, въ болѣе скромныхъ размѣрахъ было давно предпринято нашимъ журналомъ.

— Въ новой серии открытокъ общинѣ св. Евгениі воспроизведенъ, между прочимъ, эскизъ декораций къ „Осеннимъ скрипкамъ“ (2-й актъ) Кустодіева.

— Въ „Курской бывѣ“ подробно описывается распись церкви духовнаго училища въ г. Рыльскѣ, произведенная киевскимъ художникомъ Ижакевичемъ. На потолкѣ, по примѣру Микеланджело, изображены „Дни творенія“. Изображенные патрархи и пророки—что называется, шедевры церковной живописи, и каждый художникъ, изображая ихъ, можетъ только повторить Ижакевича, а не создать новый живописный типъ. Кромѣ изображенія іерарховъ, для учащихся будущихъ лѣкарновъ и писаломщиковъ данъ „утѣшительный примѣръ и образецъ въ лицѣ діакона Романа Сладкопѣвца“. И все это великодушно обошлось нѣсколько болѣе 2000 р., собранныхъ изъ пожертвованій. Везеть городу Рыльску!

— 22 октября минуло 10 лѣтъ со дня кончины Сезанна, а 22 ноября—пять лѣтъ со дня смерти Сѣрова. „Русскія Вѣдомости“ удѣлили целую страницу „Памяти Сѣрова“ со статьями Игоря Грабаря „Черезъ пять лѣтъ“, Андрея Бѣлаго

Памяти художника-моралиста¹ и Росція „Изъ писемъ Сѣрова“.

A. P.—6b.

МОСКОВСКИЯ ВЫСТАВКИ

Xудожественный сезонъ въ Москвѣ открылся очень интересною и значительною выставкою русскихъ, финляндскихъ и иностранныхъ гравюръ. Эта выставка была устроена съ большими вкусомъ, выгодно отличающимъ ее отъ всѣхъ послѣдующихъ. Центръ русского отѣла составили Фалилеевъ, Нивинскій и Качура-Фалилеева. Другіе — Богдановичъ, Павловъ, Кравченко, Сомова-Задедлеръ—слишкомъ провинциальны, чтобы о нихъ можно было говорить въ присутствіи листовъ Мане или Ропса. Фалилеевъ впервые представлень здѣсь съ исчерпывающей полнотой, и тѣмъ не менѣе надо сказать, что художникъ весь еще впереди. Въ какія нибудь 10—12 лѣтъ Фалилеевъ успѣхъ выработатьсь въ тонкаго мастера гравюры, въ гастронома этого искусства. Матеріалъ, техника, специфическая атмосфера печатного станка завладѣли его душой, и кажется, что онъ не столько чувствуетъ красоту міра, сколько воспитаннымъ на тонкой линіи глазомъ слѣдитъ за вдохновеніями другихъ мастеровъ. Не потому ли въ его творчествѣ пѣть непосредственной остроты. Не потому ли часто онъ робокъ, неувѣренъ, быть можетъ изъ болезни унизить деликатѣйшее искусство несоответствующимъ содержаніемъ? Онъ несвободенъ, онъ болѣе исполнитель, нежели творецъ. Тѣмъ не менѣе на плохихъ цвѣтныхъ и однотонныхъ офпортахъ и гравюрахъ на линолеумѣ (особенно — „Баржи подъ дождемъ“) — печать дарования, можетъ быть, еще неровнаго и нестрогаго въ выборѣ, но уже выковывающаго свой стиль.

Нивинскій первиѣ, беспокойнѣе и „идейнѣе“ Фалилеева, по техники его—вся въ поискахъ и срывахъ. Онъ заставляетъ не столько любоваться гравюрой, сколько слѣдить за колизіями своей души. Стиля нѣть.

Качура-Фалилеева мягче, сердечнѣе, уютнѣе ихъ обоихъ. Она увлекаетъ своею любовью къ оттиску, къ тону, къ поверхности листа, къ

матеріалу, къ рукодѣлью. Ея монотоніи самымъ способомъ воспроизведенія трогаютъ зрителя. (На гравировальной доскѣ пишется картина красками и на нее накладывается бумага, которая послѣ нажима воспринимается на себя положенные краски въ необычайно иныхъ и отчасти случайныхъ тонахъ). И то, что съ доски получается одинъ неповторимый оттискъ, напоминаетъ о цвѣткѣ, цветущемъ однажды. И темы у нея благоуханія—„Ландышъ“, „Цѣлты въ зеркалѣ“ и т. п. Иностранные и примикающіе къ нимъ финляндцы даютъ не полную картину искусства Запада, но то, что есть, волнуетъ близостью великаго искусства. Здоровяки — финляндцы, положимъ, въ большинствѣ—только грубоватые подражатели французовъ, но есть и такие, напримѣръ Илкки и Сегестрале, въ искусствѣ которыхъ вѣтъ совершенно особый национальный духъ, напоминающій о сѣверномъ вѣтрѣ надъ фьордами. Среди нихъ Мериайненъ — безусловно самый значительный и самостоятельный мастеръ.

Мане, Ропсъ, Стейнленъ, Іорнъ, Бракмонъ, Брингвинъ, Бонаръ вливаются на эту выставку широкимъ потокомъ разнообразѣйшихъ дарованій и сложнѣйшихъ индивидуальностей, не поддающихся характеристикѣ въ краткой замѣткѣ. Стейнленъ, кстати сказать, даѣтъ нѣсколько неудачныхъ литографій на военныхъ темахъ. Видно, нескоро еще военные события отдѣлятся отъ насъ настолько, чтобы, открытии стализовавшись, явить художественный ликъ совершающейся трагедіи.

Послѣ многозначительной и эстетически цѣнной выставки гравюръ непрѣтно осматривать широко раскинувшуюся семейную выставку Мѣшковыхъ (отца и сына). Мѣшковъ — отецъ, подававший когда то надежды своей умѣй и не безвкусной, хотя и трепаной по пастернаковски техникой, давно уже остановился въ развитіи. Теперь, повидимому, онъ сдѣлъ дѣло сыну — такому же подающему надежды и совершенно еще не опредѣлившемуся ученику. Подобно отцу, онъ такъ же бѣдѣтъ творческими духомъ и занимается его у различныхъ большихъ и малыхъ русскихъ художниковъ.

Заткнуть вѣтъ отъ выставки, Фантастовъ и Неореалистовъ'. Ея участники будто говорились возстановить въ бѣдныхъ копіяхъ раннее искусство—Сапунова, Судейкина, П. Кузнецова. Время для нихъ замерло, и они вновь переживаютъ декадентство 'Золотого Руна'. Во всей выставкѣ есть иѣчто вялое, сонное, остановившееся. Экспоненты знаютъ обращеніе съ красящими веществами, но обременены какою то духовною лѣни и, усталые, грезятъ о лучшихъ временахъ.

Междупартійная выставка 'Этюдовъ' сдѣлала не особенно удачную попытку объединенія различныхъ направлений, устронь, такъ сказать, 'выставку талантовъ'. Обильнѣе всего представлены 'передвижники', а изъ нихъ въ особенности И. Рѣпинъ и К. Лебедевъ. Рѣпинъ выставилъ, между прочимъ, небезынтересный автопортретъ. Недавно умершаго К. Лебедева почтили полнымъ гардеробомъ его историческихъ бутафорій съ многочисленными бородами, сарафанами и кокончиками. Обычные *intérieur*'ы Средина, 'Подъ лампою' Пастернака, архитектурная калиграфія Ноаковскаго — все говорить о привычной работѣ художниковъ въ той или иной, болѣе или менѣе безразличной, манерѣ.

Нѣть бодрости духа и на выставкѣ 'Московской Молодежи', устроенной учениками Школы живописи вмѣстѣ съ 'рисующей' молодежью изъ дилетантовъ. Изъ скучной массы экспонентовъ выдѣляется тревожно ищущій новыхъ 'основъ' Н. П. Яныченко. Его пейзажи иѣсколько слабѣе выставлявшихся раньше въ 'Московскомъ Товариществѣ' и въ 'Салонѣ', но суть не въ нихъ, а въ 'Портретѣ Н. Я.', свидѣтельствующемъ о серьезнѣйшемъ исканіи художникомъ новой композиціонной ориентациі. Этотъ портретъ — наиболѣе значительная работа на выставкѣ; въ немъ крѣпко выраженъ тотъ 'сергѣево-троицкій' духъ, который близокъ душѣ Яныченка.

Выдѣляются еще—дикій пейзажъ въ 'Августѣ' Анзимировой, 'Солнечный этюдъ' (№ 10) Аракеляна, 'Цвѣтуща сирень' и 'Послѣ дождя' Голиковы. По крымовски написанъ 'Нескучный садъ' Н. Григорьева. Недурно въ сѣрой гаммѣ представлена П. Зиновьевымъ 'Городъ'.

Въ стилѣ Туржанского наступаетъ 'Весна' у В. Игнатьева. Билибинъ и Берtramъ вынужчили С. Киселева, лишивъ его собственнаго глаза; въ его 'Стѣнѣ' (№ 78) отзывается также сурикъ В. Васнецова. Хороши 'Вечеръ' Кельцева и 'Юрьевецъ' Кокурина, какъ этюды милыхъ ихъ сердцу волжскихъ пейзажей. Въ юоновскомъ духѣ написанъ 'Видъ Нового Іерусалима' Колупаева. По архиповски сплеча написанъ 'Intérieur' В. Коровчинскаго. 'Пейзажъ' Крастина, 'Зимний вечеръ' Д. Панова, 'Послѣ дождя' Родионова, 'Соха' и 'Этюдъ' А. Хвостова, 'этюдъ' № 235 Н. Серпинской — все это милое, такое домашнее, этюдное искусство, которое давно себѣ пережило, но находить еще любителей среди публики. Ученичество, подражательность, заимствованіе — вовсе не плохое дѣло, когда знаешь, у кого учиться, кому подражать. Хорошо Богаевскому подражать Мантенѣ, но если безконечными вдохновителями являются Васнецовы, Туржанскіе, Богдановы-Бѣльские, Берtramы — становится грустно за молодежь.

Не пройти ли молча мимо выставки Пимоненка и Орловскаго, мимо всѣхъ этихъ гладенькихъ полотенъ съ безчисленными 'девичинами' и 'парубками', которыми снабжаются обычаватели изъ года въ годъ? Уѣдшимся лучше, Бунновымъ 'Валетомъ'. Выставка нынче хотя и не такъ ярка, но все же здѣсь бѣтъся подлинный художественный темпераментъ.

Во первыхъ — Н. Альтманъ, жадно идущій строгихъ формъ, культурный, отчетливый, чеканный. 'Голова еврея', 'Рисунокъ', 'La Ruche', 'Парижъ' — во всемъ и мастерство и стиль. Хорошій колористъ вырабатывается изъ А. В. Куприна; вѣрнымъ шагомъ идетъ онъ къ настоящей живописи; каждая выставка говорить о его успѣхахъ въ рисункѣ и краскахъ. Купринъ любить охристые и густые коричневые тона. Его *nature mortes* и пейзажи органически цѣльны. Художникъ не оказывается ниже тѣхъ задачъ, которыхъ себѣ ставить. Ю. И. Хольмбергъ — Кронъ выставилъ 'этюды Урала' иѣсколько однообразные и сѣрые, но интересные по рисунку и по кудреватости, напоминающей Патинира массой лѣсовъ, горъ и пѣнистъ, окружающихъ озера. Крѣпкіе

этюды даль И. С. Федотовъ. Но самое интересное на выставкѣ—Маркъ Шагаль. Художникъ кажется невольникомъ своихъ замысловъ, такихъ специфическихъ и необычныхъ. Онъ выставилъ 45 произведений. Въ нихъ—какъ бы новый міръ грезы и сна, въ соединеніи съ реальнѣйшими явленіями. Не заключены ли здѣсь поистинѣ вдохновенные возможности для изображенія „души“ предметного міра? По сравненію съ Шагаломъ Э. Кронъ, А. Лентуловъ, А. Экстеръ и Н. И. Штуцеръ кажутся поверхностными и жесткими. Лучшее у Э. Крона, пожалуй—„Поэтесса С.“ и „Дѣвушка въ зеленомъ“. А. Лентуловъ не на шутку увлекся декоративностью и антихудожественными эффектами. Дурно и грубо написанная „Лeda“ украшена нашитымъ на тѣло стеклярусомъ. Она, темная какъ ветчина, спитъ, ритмично поводя руками, и Лебедь въ тупомъ раздуміи стоитъ у нея въ ногахъ. Въ контурахъ стѣны намѣченъ мотивъ рукъ Леды и щеи Лебедя. Но плохой рисунокъ, безформенность и сусальное золото—не даютъ почувствовать ихъ ритма. Вообще въ послѣдніихъ работахъ Лентуловъ стремится къ дешевому звону, къ стеклярусу, и это придаетъ его холстамъ грубую и нестерпимо беззкусную нарядность. Въ „Ялтѣ“ дома и суда сдѣланы выпуклыми, что сразу производить яркое впечатлѣніе рельефности, которое тутъ же смѣняется скучной и ощущеніемъ обмана. Звонко, но безосновательно написана „Иверская“. Портреты „В. В. Л.“ и „С. М. В.“—хотя реалистичны, привличны, но со слабой харacterистикой. Жаль, что этотъ художникъ такъ небережливъ къ своему дару и такъ неделикатенъ съ искусствомъ, что позволяетъ себѣ... шарлатанство. Пейзажи М. Леблан—довольно дешевая живопись съ общими пустыми мѣстами при слабомъ рисункѣ. Его большія композиціи были бы умѣстнѣе на недорогомъ чайномъ сервизѣ. Живопись Р. Фалька, несмотря на расплывчатость и клубистость, тяжела и темна. А. Экстеръ выставила кромѣ натюрмортовъ эскизы костюмовъ для „Фамиры Кивареда“ Иппокентія Аниенского въ своихъ излюбленныхъ краскахъ—синей, черной и киноварной съ золотомъ и

зеленою. Фигуры на глубокомъ синемъ фонѣ, выдержаны въ духѣ греческихъ вазъ. Рисунокъ тонкій и чуткій, движенія фигуръ выразительны и грациозны. У Экстеръ есть декоративный вкусъ.

На „Бубновомъ Валетѣ“ чувствуется определенная говоренность и если не стиль, то общий тонъ. Безпредметная (супрематическая) живопись и живописная архитектоника „Бубноваго Валета“ не имѣютъ здѣсь сильного выраженія и едва ли осознаны. То, что выставлено, очень однообразно, неживописно и несамостоятельно, но нельзя и этому отдать „Бубноваго Валета“ отказъ въ любопытности.

27 ноября открылась въ Румянцовскомъ музѣ выставка гравюръ на деревѣ А. П. Остроумовой-Лебедевой. Благодаря трудамъ Н. И. Романова выставка приняла исторический характеръ. Въ видѣ вступленія даны иѣсколько щитовъ съ 34 деревянными гравюрами—иѣменскими XV—XVI в., итальянскими XVI—XVIII в., японскими и цветными гравюрами XIX и XX в.—въ порядкѣ развитія гравирного искусства. Остроумова представлена 96 гравюрами въ лучшихъ оттискахъ, дающихъ полное понятіе о художницѣ. Искусство этого тонкаго мастера требуетъ подробнаго изслѣдованія, шагъ къ которому дѣлаетъ руководящая статья въ каталогѣ, написанная Н. И. Романовымъ.

Я. Теликъ.

ПЕТРОГРАДСКИЕ ТЕАТРЫ

Въ первой половинѣ настоящаго театральнаго сезона посторонний наблюдатель не могъ бы замѣтить сдвиговъ той „великой“ реформы внутреннаго распорядка, которую долженъ былъ осуществить Е. П. Карповъ, приглашенный весной этого года на постъ главнаго режисера Александринского театра. Все осталось, какъ раньше, нового ничего не случилось. Только преимущественное право получать новые роли перешло отъ однихъ артистовъ къ другимъ. И по прежнему осталась неиспользованной богатая наличность артистическихъ дарованій нашего академического театра. Число новыхъ постановокъ возросло, но качествен-

ная сторона ихъ понизилась. Все чаще и чаще дѣлается замѣтнымъ въ постановкахъ Александрийского театра отсутствіе нужнаго количества репетицій. Возобновленный 'Мѣсяцъ въ деревнѣ' въ достаточной мѣрѣ показалъ петроградскимъ театраламъ, какъ опасна въ театрѣ случайность, возводимая въ постоянный принципъ.

Нѣкоторые изъ нихъ съ нетерпѣніемъ ожидали постановки 'Романтиковъ' Мережковскаго въ этомъ театрѣ, считая ее крупнымъ событиемъ нашей театральной дѣйствительности. Ниже помѣщена специальная статья, посвященная этой пьесѣ. Миѣ хочется только выскажать нѣсколько мыслей по поводу 'Романтиковъ' въ связи съ общими условіями развитія нашей отечественной драматургіи. Въ половинѣ прошлаго столѣтія весьма было распространено мнѣніе объ отсутствіи у насъ національного театра. Доказательство этого находили въ томъ, что русскій театръ не создавался генетически, а былъ искусственнымъ образомъ 'сътворенъ'. Этимъ обстоятельствомъ объясняли и бѣдность нашей драматической литературы, и постоянное подчиненіе русскаго сценическаго искусства господствующимъ течениямъ западно-европейскаго театра. Вопросъ объ отсутствіи у насъ національного театра и до сихъ поръ еще не потерялъ своей остроты: ибо вѣдь даже при крайней синхронитете нельзя признать 'театромъ' все то, что сейчасъ пишется для сценическихъ постановокъ и что такъ далеко лежитъ вѣдь плана литературы. Имя Д. Мережковскаго и самая фабула пьесы сообщили увѣренность нѣкоторымъ изъ нашихъ театраловъ, что на сценѣ Александрийского театра будетъ поставлена наконецъ настоящая театральная пьеса съ глубоко національнымъ содержаніемъ. Ихъ ожиданіе оказалось тщетнымъ. У Мережковскаго предвзятыя предпосылки побѣдили истину, а діалогъ убилъ дѣйствіе. 'Романтики' оказались не болѣе, какъ страницами семейной хроники рода Бакуниныхъ, приспособленными къ сценѣ и къ тому же иногда противорѣчащими исторической правдѣ. Отъ этого исчезла обаятельность сценическихъ образовъ, и потускнѣла самая легенда русской общественности.

Слѣдующая новинка нашего образцового театра, 'Флавія Тессини' Щепкиной-Куперникъ, представляетъ театральную макулатуру, изобилующую той сладкой романтикой, которая составляетъ отличительный признакъ творчества прославленной поэтессы. Только большой талантъ Е. И. Рошиной-Инсаровой, исполнявшей главную роль, далъ возможность смотрѣть пьесу до конца.

Намъ на страницахъ 'Аполлона' не одинъ разъ приходилось высказывать мнѣніе о большомъ значеніи спектаклей въ Михайловскомъ театрѣ, устраиваемыхъ для учащейся молодежи. Въ то время, какъ Александрийский театръ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе теряетъ свое лицо, возводя случайность въ принципъ и строя свое благополучіе на постановкѣ пьесъ, вовсе лишенныхъ сценической и художественной цѣнности, въ Михайловскомъ театрѣ наѣ чаются тѣ пути, идя по которымъ театръ можетъ стать академическимъ. Въ наши дни наличие отдѣльныхъ артистическихъ дарованій и рядъ даже исключительныхъ по своей художественности спектаклей еще не создаютъ 'театра'. Для этого требуется: какая то внутренняя спайка всѣхъ силъ труппы, однообразіе приемовъ ея сценической техники и единый взглядъ на значеніе сценическаго искусства. Все это имѣется, пока еще въ зачаткѣ, въ русскихъ спектакляхъ Михайловскаго театра. Случайному характеру репертуара Александрийского театра здѣсь противопоставлена обширная программа ознакомленія нашей театральной публики съ произведеніями корифеевъ западно-европейскаго театра. Здѣсь на основаніи репертуара могутъ создаться тѣ сценическія традиціи, безъ которыхъ нельзя обойтись ни одному театру. Публика же, воспитывая свой вкусъ на классикахъ, станетъ цѣнить надлежащимъ образомъ приемы драматургической техники, и ее уже перестанутъ соблазнять стереотипныя фразы предустановленныхъ театральныхъ персонажей эпигоновъ бытового театра.

Въ Михайловскомъ театрѣ въ настоящемъ театральномъ сезонѣ посль 'Венеціанскаго купца' были поставлены Ю. Л. Ракитинымъ комедія Ричарда Шеридана 'Соперники' и драма

Александра Дюма-отца „Генрихъ III и его дворъ“. Пользуясь принципомъ крайней схематизации, можно признать Шеридана отцомъ того вида сценическихъ представлений, который у насъ извѣстенъ подъ именемъ англійской комедіи и завершителемъ которого въ наши дни является Бернардъ Шоу. Отличительный его признакъ состоитъ въ томъ, что весь комизъмъ сценическихъ положений проистекаетъ изъ основной предпосылки, содержаніе которой явно противорѣчить здравому смыслу и не можетъ быть согласовано съ законами точного наблюденія. Въ планѣ сценической техники этотъ комизъ достигается чрезмѣрной серьезностью въ создавшемся рисункѣ самыхъ нелѣпыхъ сценическихъ положений. Вся интрига шеридановскихъ „Соперниковъ“, всѣ приключенія действующихъ лицъ основаны только на томъ, что главный герой комедіи имѣть несчастье носить два имени: капитана Джека Эбсолюта и прапорщика Беверлей. Режисеръ, ставя комедію Шеридана, показалъ зрителямъ веселый спектакль, гдѣ временами звучалъ подлинный смѣхъ старо-англійского театра. Въ заслугу ему слѣдуетъ поставить, что онъ отказался отъ соединенія иѣсколькихъ сценъ въ одну, сохранивъ отличительный признакъ архитектоники англійской комедіи: краткость отдѣльныхъ сценъ и частую смѣну декорацій. Что касается исполненія, то первое мѣсто принадлежитъ г-жѣ Ростовой и г-ну Усачеву. Первая, изображая миссъ Мадапронъ, создала въ манерѣ преувеличенной пародіи мастерски отдѣленный сценический образъ неумной старой лѣвы, ревниво оберегающей свою племянницу, а второй, актеръ исключительного дарованія, которое почему то остается неизвѣстнымъ руководителямъ Александрийского театра, бытъ очень смѣшонъ въ роли проходи Фэга, слуги капитана Эбсолюта, и своимъ появлениемъ на сценѣ сообщалъ зрительному залу непринужденную веселость. Сцены ревности между Фоклендомъ и Джуліей Мельвилль, являющимся отголоскомъ любовныхъ приключений самого Шеридана, были весело проведены и съ надлежащимъ тактомъ разыграны г. Вивиеномъ и г-жей Стаховой. Исполнитель главной роли г. Горинъ - Горяновъ

какъ то выѣдался изъ рамокъ общаго исполненія и, часто пользуясь случайными трюками, нарушая строгій характеръ юмора англійской комедіи. Г-жа Весновская, не справлявшісь съ общимъ рисункомъ роли Лидіи Ленгушъ, была беспомощной въ сценѣ объясненія со своимъ женихомъ, когда тотъ появляется въ домѣ ея тетки подъ именемъ капитана Джека.

Послѣ „Соперниковъ“ въ этомъ театрѣ поставили „Генриха III“, знаменитую мелодраму Дюма-отца, успѣхъ которой рѣшилъ судьбу романтического театра во Франціи и подготовилъ почву для пьесъ Виктора Гюго. Основная ея тема, неистовая любовь прекраснодушнаго кавалера Сенъ-Мегрена къ герцогинѣ Гизъ, помѣщена авторомъ въ условныя сценическія рамки театральнаго романтизма. Игра въ бильбоке, собраніе членовъ священной лиги, талеръ съ розой, испанскій дублонъ являются лишь средствами театральной выразительности, долженствующими внушить зрителямъ, что дѣйствіе разыгрывается не въ современной Франціи, а въ восьмидесятыхъ годахъ XVI столѣтія. Эту же цѣль преслѣдуютъ встрѣчающіеся въ пьесѣ въ большомъ количествѣ театральные эффекти: волшебное зеркало, потайные двери, амулеты, предохраняющіе отъ удара стади и т. п. „Генрихъ III и его дворъ“, какъ всякая пьеса единой, всепобѣждающей страсти, требуетъ отъ ея исполнителей надлежащаго сценическаго темперамента и романтическаго паноса. Въ этомъ заключается необычайная трудность постановокъ этихъ пьесъ на русской сценѣ, гдѣ артистическая техника не настолько совершенна, чтобы она могла устранить встрѣчающіеся въ этихъ пьесахъ сценическія неправдоподобія.

На сценѣ Михайловскаго театра мелодрама Дюма была поставлена и разыграна удовлетворительно. Режисеръ соединилъ мелодраматический стиль самой пьесы со стилемъ декорацій въ извѣстной манерѣ фирмы Лютке-Мейеръ. Имъ въ достаточной степени были использованы отдѣльные способы театральной выразительности и подчеркнуты иѣкоторыя условности отдѣльныхъ сценическихъ положений. Роль Генриха III блестяще сыгралъ г. Студен-

цовъ. Онъ создалъ сценически обаятельный образъ изъбженного, сомнѣвающагося въ своихъ силахъ короля, который можетъ стать грознымъ и дарственнымъ властителемъ Франціи, когда его странѣ угрожаетъ опасность возмущенія. Бѣдна была г-жа Данилова. Повидимому, неопытность помѣшила ей нарисовать сценическими красками романтическо-прекрасную фигуру герцогини Гизель, по мѣрѣ силъ своихъ скрывающую отъ всѣхъ свою тайную любовь къ кавалеру Сень-Мегрену. Трогательно прочитала стихи въ третьемъ актѣ г-жа Стахова, исполняя роль пажа Артура, умирающего за дѣло и честь своей госпожи.

За исключеніемъ спектаклей Императорскихъ театровъ и мастерской Передвижного театра (о которой мы намѣрены въ ближайшее время поговорить особо), остальные события нашей театральной жизни не выходятъ изъ предѣловъ житейской повседневности. Все, какъ раньше. Все, какъ слѣдуетъ. Только кое гдѣ замѣчаются отдѣльныя колебанія и незначительные уклоненія отъ прочно установленныхъ правилъ театрального вкуса нашей невзыскательной публики.

За послѣднее время Суворинскій театръ поставилъ три пьесы: „Благодать“, незначительный театральный анекдотъ Л. Урванцова изъ обычательскихъ правовъ, мелодраму А. Дюма „Война женщинъ“ (для г-жи Сувориной, съ декорациами художника Я. Гурецкаго, въ постановкѣ режиссера С. М. Надеждиной) и новую комедію А. Бобрищева-Пушкина „Нашъ герой“, сюжетъ которой взяты изъ сенсационнаго уголовнаго процесса недавняго прошлаго.

Театръ К. Незлобина на Офицерской улицѣ, имѣющій въ составѣ своей труппы рядъ артистическихъ дарованій первой величины, отказался вовсе отъ какихъ либо новшествъ и исканий и строитъ свое материальное благополучіе на постановкѣ пьесъ, подобныхъ „Врагамъ“ Арцыбашева, „Шарманка сатаны“ Тэффи—наиболѣе удачная новинка этого театра; остроуміе автора и игра Юреневой разсыпали холодную скучу и безразличіе, царящія въ зрительномъ залѣ, въ томъ самомъ зрительномъ залѣ, гдѣ когда то благоговѣли, гдѣ когда то за что то боролись.

Замѣчаются нѣкоторое отклоненіе отъ обычнаго сценическаго шаблона въ театрѣ Сабурова, почти единственномъ изъ петрографскихъ частныхъ театровъ, гдѣ удѣляется кое какое вниманіе понятію сценическаго ансамблія. Исключительное артистическое дарованіе г-жи Грановской, повидимому, не можетъ помириться съ характеромъ репертуара этого театра и стремится его измѣнить. Согласно ея желанію, надо полагать, здѣсь была поставлена новая пьеса гр. А. Н. Толстого. Къ сожалѣнію, выборъ ея оказался мало удачнымъ. „Ракета“, страдая сценическимъ эклектизмомъ и заключая въ себѣ перепѣвы различныхъ театральныхъ настроений нашихъ дней, успѣха у публики не имѣла и скоро была снята съ репертуара. Сейчасъ трудно сказать, кончились или нѣть новыхъ вѣній въ этомъ театрѣ. Постановка послѣ „Жучковъ“ въ бенефисъ Грановской пьесы англійскаго драматурга Шельдона „Первый романъ“, кажется, подтверждаетъ наше предположеніе, что театръ хочетъ перейти отъ фарса къ пьесамъ легкой комедіи.

„Кривое зеркало“ въ настоящее время переживаетъ длительный кризисъ. Пародія, излюбленный жанръ этого театра, изжила свой вѣкъ. Взамѣнъ ея театръ не нашелъ еще новыхъ путей и, упорно не желая воскрешенія старинной пантомимы, старается сохранить свое лицо, удаляясь въ туманную область психологическихъ театральныхъ инвенцій. Изъ немногочисленныхъ новинокъ этого театра слѣдуетъ выдѣлить „Карагэйтъ“, злободневнаго турецкаго петрушку Н. Н. Евреинова, и двухактную пьесу Н. Урванцова „Слава консула Дуилія“, болѣе интересную по своему заданію, чѣмъ по выполнению (авторъ разрабатываетъ тему современной жизни въ историческихъ рамкахъ „римскихъ древностей“ Санчурского).

Въ „Привалѣ комедіантовъ“ 29 октября друзьями и почитателями поэта былъ отпразднованъ десятилѣтній юбилей М. А. Кузмина. Какъ поэтъ и прозаикъ, М. Кузминъ въ достаточно мѣрѣ одѣненъ критикой нашихъ дней. Къ сожалѣнію, остается въ тѣни его дѣятельности, какъ драматурга. М. Кузминъ

принадлежить къ числу немногихъ драматическихъ писателей, которые пытаются создать новый театръ, заимствуя сценическія формы изъ эпохъ, особенно отличавшихся блескомъ театральности. Пьесы этихъ писателей не одѣнены по достоинству нашей театральной публикой. Онѣ только печатаются и очень, очень рѣдко ставятся на сценѣ какого нибудь передового театрального учрежденія. По всей справедливости, М. Кузминъ занимаетъ первое мѣсто въ нашемъ 'театрѣ подземныхъ классиковъ', спектакли котораго могутъ происходить только въ какомънибудь подвалѣ 'Ущербной луны' или въ мансардѣ 'Старой голубятни'. Кузминъ главнымъ образомъ возсоздаетъ старо-французскій комическій театръ. Излюбленная его сценическая форма—пастораль. Мастерски владѣя диалогомъ, онѣ такъ умѣетъ размѣщать на сценической площадкѣ театральныхъ персонажей, что самая простая фабула становится необычайно затѣйливой. У него острота и нѣкоторая рискованность отдельныхъ положеній затушевывается чрезвычайнымъ изяществомъ и сценической граціей. 'Куранты любви'—театральное представление, столь же затѣйливое, сколь трогательное, столь же мастерское, сколь дѣтски наивное. Среди его драматическихъ произведеній наибольшій интересъ представляетъ томикъ комедій (о Евдокіи, объ Алексѣѣ и о Мартиніанѣ). Какъ намъ кажется, рѣдко гдѣ можно встрѣтить то исключительное равновѣсие, какое мы наблюдаемъ въ этой одинокой, трагически запоздалой попыткѣ создать въ наши дни театръ літургической драмы. Святая наивность повѣстователя средневѣковыхъ мираклей здѣсь соединена съ изящнымъ мастерствомъ поэта французского Возрожденія. Передъ читателями этихъ комедій (увы! читателями, а не зрителями) проходятъ: величественный образъ раскаившейся блудницы Евдокіи и исполненная нравственной силы фигура аскета Алексѣя, отказавшаго ради истины отъ богатствъ міра сего. Пользуясь условными приемами средневѣковыхъ спектаклей, гдѣ роль посредника между зрителями и актеромъ такъ значительна, Кузминъ какъ бы въ панорамѣ показываетъ

своихъ персонажей, которые живутъ, дѣйствуютъ и умираютъ, а гдѣ то далеко, можетъ быть невидимый для глазъ, рассказчикъ монотоннымъ голосомъ читаетъ пазднаніе или повѣствуетъ о томъ, что должно произойти въ перерывѣ между двумя картинами.

Слѣдя за дѣятельностью М. Кузмина въ театре, мы съ радостью замѣчаемъ, что онъ не ограничивается областью художественной миниатюры. Въ послѣднее время онъ началъ работать для большихъ спектаклей. Имъ написаны 'Венецианские безумцы', театральное представление съ интермедіей, содержаніе котораго взято изъ послѣднихъ дней существованія священнѣйшей республики, и большая пантомима 'День Св. Духа въ Толедо', поставленная на сценѣ московскаго Камернаго театра.

В. С.

РОМАНТИКИ ВЪ АЛЕКСАНДРИНСКОМЪ ТЕАТРѢ

Тридцатые годы привлекаютъ все больше наше вниманіе. И это такъ понятно! До этой эпохи—періодъ поверхностнаго подражанія западнымъ формамъ, послѣ—пора тѣхъ грубыхъ узко-реалистическихъ доктринъ, которыя уже два десятка лѣтъ какъ опередила русская мысль. Среди этихъ крайностей передовые кружки тридцатыхъ годовъ рисуются очагами высшаго подъема національной мысли, искавшей опору политическихъ и эстетическихъ взглядовъ въ широкихъ религиозно-философскихъ обобщеніяхъ.

На фонѣ этой эпохи, какъ прекрасная легенда, выдѣляется преданіе о семье Бакуниныхъ. Станкевичъ, Бѣлинскій, Лажечниковъ—всѣ они, какъ и цѣлый рядъ ихъ современниковъ, сохранили воспоминаніе о домѣ Бакуниныхъ, какъ о чёмъ то утонченно-прекрасномъ, что способно навсегда согрѣть душу отраднымъ воспоминаніемъ. Семейство Бакуниныхъ—идеаль семейства. Можешь себѣ представить, какъ оно должно дѣйствовать на душу, которая не чужда искры Божией. 'Намъ надо бѣзъ тута вѣдти исправляться', писалъ Станкевичъ. Такой сказки страшно коснуться грубої ру-

кой. Но когда мы узнали, что ее облюбовала, какъ тему для драмы, Д. Мережковскій, страхъ смѣнился нетерпѣливымъ ожиданіемъ.

Увы, эти ожиданія совершенно не оправдались. Прежде всего—тема пьесы. Въ исторіи семьи Бакуниныхъ Мережковскій привлекъ эпизодъ ухода молодого Мишеля Бакунина, портившаго съ роднымъ очагомъ и цѣлкомъ отдавшагося дѣлу революціи,—заданіе, лишенное органической цѣлостности, такъ какъ, по собственному признанію драматурга, разрабатывая этотъ эпизодъ, онъ въ виду необходимости считаться съ цензурными требованіями находился въ положеніи человѣка, дѣйствующаго со связанными руками. Но если даже скинуть со счета полную невыдержанность характера главнаго дѣйствующаго лица, за авторомъ останется большая вина. Предъ нами проходятъ почти всѣ члены семьи Бакуниныхъ, и какъ непохожи эти блѣдныя тѣла на тѣ подлинно поэтические образы, которые возникаютъ въ умѣ при первомъ знакомствѣ съ рассказами испытавшихъ на себѣ очарованія прямухинскаго дома! Мы знаемъ по этимъ рассказамъ отца Бакунина, какъ человѣкъ уточненной духовной культуры. Проведенные заграницей годы юности, прекрасное образованіе, служба въ посольствѣ—все это наложило свою печать на яркую и сильную личность. Въ старикѣ Бакуниныѣ навсегда сохранилось глубокое личное обаяніе, недаромъ уже послѣ семейныхъ бурь Мишель писалъ ему: «Вы были для насъ чѣмъ то великимъ, выходящимъ изъ ряда обыкновенныхъ людей». Гдѣ же это обаяніе у того трафаретнаго родителя-деспота, типъ котораго повторилъ Д. Мережковскій. Оставилъ въ планѣ его заданія, нельзя не отмѣтить и совершение произвольную фигуру пъянаго удана Митеньки. Что уточненная культура тридцатыхъ годовъ расцвѣтала на фонѣ крѣпостного права—безконечно прискорбно. Но очарование молодого поколѣнія идеалистовъ тѣмъ сильнѣе, что они вполнѣ сознавали весь ужасъ этой трагической антitezы. Бакунинъ, Бѣлинскій, Герценъ—были воистину первыми глашатаями новой вѣры, и подыщившіе улазы могли лишь ужасаться ихъ взглядамъ, а не выступать передъ ними въ качествѣ пророковъ освободи-

тельныхыхъ идей. Вообще Бакунинъ-мятежникъ выступаетъ въ пьесѣ Мережковскаго достаточно жалкимъ, осмѣяннымъ, а въ концѣ концовъ и побитымъ существомъ.

Основной замыселъ не удался совершенно. Но еще менѣе удалось автору нарисовать тѣль фонъ, на которомъ разыгрывается драма. Отрывки, взятые непосредственно изъ источниковъ, говорить, конечно, сами за себя, но въ общей картинѣ сразу обнаруживается и недостаточность выдумки и склонность итии по шаблону. Почему, напримѣръ, опущена такая интересная деталь, какъ хоровое пѣніе всей семьи? Почему не удовлетворены десятки характерныхъ штриховъ въ томъ бытѣ прямухинскаго дома, создавая который, глава его, по свидѣтельству историка, стремился не просто къ обоснованію материальнаго благостоянія своего или своей семьи, а къ此刻ию своеобразнаго мѣра, образца культурной и общественной ячейки по сознательно продуманному идеалу? Этой сѣбѣтой атмосферы не чувствуется въ пьесѣ почти вовсе. На спектаклѣ было грустно. Кто то поманилъ въ прекрасный міръ, но сумѣть показать лишь смутную тѣнь его очарованій. Блѣдность главныхъ исполнителей, среди которыхъ особенно выдѣлялся своей надуманной игрой г. Юрьевъ, лишь усугубляла впечатлѣніе неискренности пьесы и отсутствія подлиннаго, трепетнаго одушевленія.

Н. Домовѣ.

ИСКУССТВО ОРКЕСТРОВОЙ ДЕКЛАМАЦИИ

Акустика учить, что каждый звукъ, помимо своего основного тона, обладаетъ еще цѣлымъ рядомъ привходящихъ призвуковъ—натуральныхъ обертоновъ, которые, въ зависимости отъ инструмента, ихъ производящаго, даютъ данному звуку особую окраску—то, что мы именуемъ тембромъ.

Всякий инструментъ обладаетъ только однимъ, ему одному присущимъ тембромъ, такъ что даже однородные инструменты по тембру равны лишь приблизительно.

Изъ этого мы видимъ, что тембръ выявляетъ психологическую сторону инструмента и

ласть его неотъемлемую индивидуальную сущность.

Правда, помимо такой тембровой особенности каждого инструмента въ отдельности, существует, какъ я уже упомянулъ, еще искрѣй общей 'приблизительный' планъ индивидуального звучанія въ однородныхъ инструментахъ; и на этихъ особенностихъ зиждется оркестровая инструментовка.

То же самое мы наблюдаемъ и въ человѣческомъ голосѣ, который, несмотря на многообразіе своей индивидуальной психической организаціи, а слѣдовательно и тембровыхъ данныхъ, обладаетъ особенностями 'приблизительного' сходства въ родственныхъ организаціяхъ и въ своихъ групповыхъ комбинаціяхъ звучитъ 'почти' однородно.

Отсюда возникла хоровая оркестровка; отсюда же родился новый видъ искусства, первому опыту надъ которымъ мы обязаны молодому исследователю въ области дикціи и декламаціи— В. К. Сережникову.

Въ трудахъ, который скоро долженъ выйти въ свѣтъ—'Многоголосная декламація', В. К. Сережниковъ проводить принципъ 'тембризациі' въ чтеніи поэтическихъ произведений. Авторъ стремится использовать возможно большее количество тембровъ человѣческаго голоса, приоравливая ихъ къ тѣмъ мѣстамъ художественного произведения, которыя ближе подходятъ къ психической организаціи отдельныхъ индивидуумовъ, оттѣняя наиболѣе сильныя мѣста хоровымъ сопровожденіемъ.

Такимъ образомъ достигается та экспрессія воспроизведенія, которая, при всѣхъ совершенныхъ декламаціонныхъ средствахъ отдельного лица, не въ состояніи выявиться въ силу чисто физическихъ особенностей индивидуума.

Если мы прибавимъ къ чисто звуковымъ эфектамъ и оркестровку выразительного чтенія, что конечно подчиняется существующимъ законамъ дикціи и декламаціи, то мы получимъ многогранное новое искусство, всю цѣнность котораго суждено будетъ раскрыть еще 'грядущему дню'.

Изъ цѣлаго ряда примѣровъ, которые В. К. Сережниковъ демонстрировалъ передъ много-

численной аудиторіей, видно, что онъ сохра-
няетъ определенный ритмъ фразы, открывая
тѣмъ самымъ новые горизонты и въ сферѣ
пластического творчества.

До сихъ поръ главный элементъ сценическаго дѣйства—ритмъ—всегда отсутствовалъ на сценѣ, по крайней мѣрѣ на драматической. Теперь же, съ появленіемъ оркестровой декламаціи, можно надѣяться, что театръ, наконецъ, выйдетъ на самостоятельный путь, отдѣлится отъ недостойнаго сообщничества съ кинематографомъ и заживеть ярко жизнью самозаконнаго искусства.

Ф. К.

МУЗЫКА ВЪ ПЕТРОГРАДѢ

Концерты Зилоти

Могли ли мы, въ годину тяжелыхъ испытаний, предполагать, что музыка, это наиболѣе мирное изъ искусствъ, достигнетъ высокаго расцвѣта, что именно послѣдніе сезоны окажутся особенно обильными художественными явленіями выдающагося интереса.. Охватывая мысленно безконечную вереницу камерныхъ и симфоническихъ вечеровъ за послѣдніе два, три мѣсяца, невольно стремишься найти какую либо твердую точку въ этомъ вихрѣ музыкальныхъ событий.

Такимъ идеальнымъ центромъ петроградской музыкальной жизни до известной степени являются абонементные концерты А. Зилоти. При нѣсколько пестромъ и недостаточно выдержанномъ составѣ программъ, симфонические и камерные вечера, имъ устраиваемые, настойчиво преслѣдуютъ цѣль ознакомленія широкихъ слоевъ публики съ лучшими образцами звукотворчества современныхъ русскихъ и иностранныхъ авторовъ. Впрочемъ, число новѣйшихъ отечественныхъ композиторовъ въ программахъ концертовъ, входящихъ въ настоящій обзоръ, ограничивается пока лишь двумя, тремя именами. Non multa, но и—увы!—non tantum! Исключая сюиты Прокофьева, 'Ала и Лоллій', положительно оставляющей сѣтюмъ раскаленной фантазіи автора, и превосходно звучащей оркестровой балады Юлия

Вейсбергъ „Король Гарольдъ“, знакомыхъ уже читателямъ нашего ежемѣсячника по прежнимъ музыкальнымъ обзорамъ, первые концерты Зилоти не подарили насъ русскими по-внинками, надолго запоминающимися.

Среди рукописныхъ материаловъ, на второмъ абонементномъ вечеpѣ, заслуживаетъ быть отмѣченной симфонія ор. 5. В. В. Щербачева, младшаго изъ трехъ композиторовъ, носящихъ эту фамилию. Симфонія эта одночастна. Не совсѣмъ удачно размѣщены въ ней элементы зодческаго построенія такъ, что получается впечатлѣніе искаженной музыкальной перспективы. Основныя мысли навѣяны Скрибніемъ, мѣстами попадаются сочныя гармоническія пятна, въ цѣломъ же произведеніе это свидѣтельствуетъ о свѣжемъ дарованіи автора.

Его сосѣдъ по програмѣ, Ю. Л. Базилевский, дебютировавшій отрывкомъ изъ „Тысячи и одной ночи“ для голоса и оркестра, оказался въ достаточной степени умѣlyмъ мастеромъ оркестроваго письма, но къ сожалѣнію лишеннымъ нока личныхъ художническихъ чертъ.

Болѣе яркій художественный впечатлѣнія дали намъ неофранцузскіе авторы. Представителемъ новѣйшихъ теченій во французской музыкѣ посвященъ былъ отдѣльный четвертый концертъ,—подлинное празднество для слушателей, способныхъ поддаться чарамъ острой чувственности, разлитой въ звукахъ симфонической поэзіи. Сочиненія эти принадлежать авторамъ, которыхъ Зилоти всегда пропагандировалъ съ особой охотой—Равель, Роже Дюкаса, Дебюсси.

Въ нынѣшнемъ сезонѣ намъ пришлось впервые ознакомиться и съ произведѣніями чрезвычайно интереснаго художника звуковъ, примыкающаго къ кругу названныхъ музыкантовъ-импресіонистовъ, М. Делажа. Его четыре индусскія поэмы, совершенно волшебныя по звучности (въ нихъ авторъ задается цѣлью передать, съ помощью совершенно особыхъ приемовъ инструментовки, характерные тона индусского звукового колорита) представляются намъ предѣломъ утонченности сочетанія голоса съ оркестровымъ сопровожденіемъ. Какъ своеобразны пѣжнѣйшия *glissando*

виолончелей, оттѣняющія мечтательные переливы вокальной партіи (прекрасно исполненній Александровичемъ), какіе обворожительные красочные эффекты получаетъ Делажъ съ помощью средствъ небольшого камернаго оркестра!

Чудесная сарабанда Роже Дюкаса, въ которой звуки віоль, гобоеvъ и флейтъ сливаются съ псалмами священниковъ и перезвономъ погребальныхъ колоколовъ въ музыкальную картину, насыщенную рѣдкой силой художественной выразительности, его же „Le joli jeu de furet“, значительно выигравшій при переложеніи квартета для женскихъ голосовъ на соло, женскій хоръ и оркестръ, и наконецъ восхитительная вторая сюита изъ балета „Дафнисъ и Хлоя“ Равеля, сотканная изъ деликатнѣйшихъ гармоническихъ звукосочетаній и необычайно легкихъ, прозрачныхъ инструментальныхъ красокъ (особенно любопытно применение хора безъ словъ въ качествѣ оркестровой звучности)—таково музыкальное содержаніе этой программы, съ подлиннымъ увлеченіемъ переданной дирижеромъ.

Французскимъ мастерамъ, повѣшившимъ (Дебюсси, Равель) и старымъ (Гретти, Рамо), былъ отданъ одинъ изъ камерныхъ вечеровъ Зилоти. На немъ исполнены были впервые соната для фортепіано и віолончели Дебюсси, два вокальныхъ произведенія Делажа и Равеля и тріо посѣдняго.

Оба камерныхъ ансамблі Дебюсси и Равеля вносятъ несомнѣнно новые черты въ музыкальную характеристику ихъ авторовъ. Соната распадается на двѣ основныя части: прологъ и серенаду. Очень своеобразный прологъ, основанный на использованіи темныхъ звучностей віолончели, и замысловатая какъ въ гармоническомъ, такъ и въ ритмическомъ отношеніи, серенада были тонко и красиво переданы Зилоти и отличнымъ віолончелистомъ Д. Зиссерманомъ. Равелевскому тріо, повидимому, суждено занять особое положеніе въ современной камерной литературѣ—настолько обаятельно, совершенно ново по своимъ приемамъ „инструментовки“ фортепіано и струнныхъ инструментовъ его письмо. Въ этомъ тріо каждый штрихъ такъ обостренно инди-

видуаленъ, такъ тѣсно связанъ съ поэтическими переживаніями композитора, что никакія предвзятія техническія возвѣрнія не помогутъ намъ разобраться въ извилистыхъ ходахъ музыкальной мысли Равеля. Но стоять лишь отрѣшиться отъ традиціонныхъ суждений и возвыситься до непосредственной наивности восприятія, какъ передъ нами раскрывается мір гармоній и образовъ безподобной красоты (особенно впечатляютъ мрачная пассакалия—не совсѣмъ выдержанная по формѣ, такъ какъ басъ все время менѣетъ свой рисунокъ,—призрачный „Pantoum“ и волшебное по звучности вступленіе къ финалу, чрезвычайно изощренному ритмически).

Столь же сенсационнымъ оказалось исполненіе новыхъ сочиненій Прокофьевъ на камерномъ вечерѣ, посвященномъ его творчеству. Прокофьевъ нынѣ пользуется такой широкой популярностью въ петроградскихъ музыкальныхъ кругахъ, что исполненіе новыхъ его композицій, да еще въ области, которой до сихъ поръ не касался молодой авторъ, ожидалось съ большими напряженіемъ. Въ данномъ случаѣ дѣло шло о рядѣ его романсовъ. Какъ вокальный композиторъ, онъ менѣе захватываетъ и поражаетъ слушателей, чѣмъ въ области фортепіанного письма. Есть въ его романсахъ и глубина чувства и любопытнѣшіе эпизоды, но то, что больше всего цѣнишь въ Прокофьевѣ, его непреклонная творческая воля и внутренняя цѣльность его художническихъ вдохновеній, подчасъ отсутствуетъ въ вокальныхъ композиціяхъ. Быть можетъ, въ лучшемъ исполненіи романсы Прокофьевъ произвели бы болѣе яркое впечатлѣніе. Изъ рукъ вонъ плохо пѣла Е. Попова, да и талантливый И. Алчевскій на этотъ разъ оказался далеко не на высотѣ своей художественной задачи. Въ сущности говоря, ему вполнѣ удалось лишь одинъ вокальный номеръ—„Колдунъ“, произведеніе быть можетъ и очень остроумное, но непростительно грубое по тексту. Глубокое художественное удовлетвореніе доставила намъ лишь исполненная авторомъ замѣчательная послѣдовательность фортепіанныхъ пьесъ подъ общимъ названіемъ „Сарказмовъ“. Въ этомъ дерзостномъ вызовѣ всѣмъ музыкальнымъ тра-

диціямъ чувствуется, однако же, большая глубина художественной мысли и вѣяніе красоты. Повидимому, отъ молодого мастера можно ждать и иныхъ творческихъ проявленій, чѣмъ вѣчна жизнерадостно задорная игра новыми звукосочетаніями.

Баховскіе органные вечера

Прекраснымъ откликомъ на то теченіе въ музыкальной жизни, которое можно было бы назвать „возрожденіемъ И. С. Баха“, является баховскій органный циклъ, давно задуманный А. Зилоти, но осуществленный имъ лишь въ текущемъ году. Циклъ этотъ, обнимающій все органиное творчество великаго мастера, предположено осуществить въ теченіе четырехъ сезоновъ. Согласно основному плану въ программу каждого концерта включается по четыре номера органныхъ сочиненій Баха и по два вокальныхъ соло. Такимъ образомъ на первомъ органномъ вечерѣ исполнены были: прелюдія и фуга C-dur (№ 15, т. XV по изданию стараго Баховскаго общества), рядъ хораловъ изъ „Органной книжки“, токата и фуга D-moll (Я. Я. Гандшинъ) и два вокальныхъ номера „Benedictus“ изъ H-moll'ной мессы и теноровая ария изъ канаты № 108 (въ превосходномъ исполненіи А. Д. Александровича). Основная проблема звукового воплощенія органныхъ фугъ Баха—это вопросъ звучности инструмента, на которомъ они исполняются. Въ этомъ отношеніи условія, среди которыхъ протекаетъ данный баховскій циклъ въ маломъ залѣ консерваторіи, нельзя назвать благопріятными. Устарѣлая конструкція органа, несоответствіе между размѣрами помещения и силой звучности инструмента и, наконецъ, некоторые неисправности механизма—все это едва ли способствовало сосредоточенному настроению слушателей. Но всѣ эти недостатки органа въ маломъ залѣ консерваторіи блестяще преодолены были проф. Я. Я. Гандшинъ, виртуозъ, соединившимъ чувство полифонаго стиля съ прекраснымъ умѣніемъ пользоваться богатыми красочными возможностями инструмента. Превосходно сыграны были прелюдія и

фуга C-dur (четырехголосная фуга, построенная на совсем простой теме, принадлежит теме не менее к значительнейшим проявлениям музыкального гения Баха). Съ неменьшим блеском передана была и D-moll'ная токата и фуга. Бурное вспышение северной романтики и величайшее драматическое напряжение токаты нашли въ игрѣ виртуоза яркое воплощеніе.

Вечера Музыкального Современника

Первый вечеръ „Музыкального Современника“ представлялъ интересъ умбранный. Исполнялись произведения представителей молодой московской школы, Г. Катуара и А. Крейна. Катуаръ къ молодежи, однако же, можетъ быть причисленъ весьма условно. На композиторскомъ поприщѣ московскій авторъ сталъ выступать, если не ошибаемся, лѣтъ пятнадцать, двадцать тому назадъ. И нынѣ, когда слушаешь его музыку, весьма культурную и прогрессивную по своему направленію, не можешь отѣзгаться отъ чувства досады за... слишкомъ позднее ознакомленіе свое съ музыкальными работами Катуара. Быть можетъ, въ концѣ девяностыхъ годовъ, когда еще только памѣтилось на художественномъ горизонте Россіи восходженіе нового сѣтила, Скрябина, фактура катуаровскихъ произведений могла бы показаться смѣлой и интересной, нынѣ же приемы модернистского характера, примѣняемые имъ, представляются безнадежно влажными, ненужными. Нельзя не отмѣтить искакано хорошихъ страницъ въ Fis-moll'номъ квартетѣ (страдающимъ, однако, чрезмѣрной перегруженностью письма), не лишена поэтическихъ красотъ его соната для скрипки и фортепиано (отлично переданная М. Мандельштамъ и Н. Рихтеромъ), но ни романсы, ни камерные произведения Катуара не возбуждаютъ особаго желанія еще разъ прослушать ихъ въ концертномъ исполненіи. Сѣйчасъ и болѣе занимательны романсы А. Крейна (особенно „Тоны“ на слова Гамсона съ затѣйливой фигураціей въ фортепианномъ сопровожденіи; исполнительница — молодая, весьма одаренная пѣвица,

Е. Талонкина). Поэма-квартетъ того же автора принадлежитъ къ числу тѣхъ музыкальныхъ произведений, которыхъ такъ же легко воспринимаются, какъ и безслѣдно исчезаютъ изъ нашей музыкальной памяти.

Два фортепианныхъ вечера А. Боровскаго

Въ качествѣ „большихъ“ концертныхъ дней должны быть отмѣчены фортепианные вечера А. Боровскаго. Наряду съ Рахманиновымъ Боровскій является нынѣ наиболѣе могущественнымъ повелителемъ стихіи піанизма. Однако, не одно техническое совершенство и блескъ чисто виціального исполненія привлекаютъ наши симпатіи къ молодому виртуозу, а высокая музыкальная содержательность его концертныхъ программъ.

Два фортепианныхъ вечера А. Боровскаго въ нынѣшнемъ сезонѣ посвящены были: одинъ современнымъ русскимъ композиторамъ, другой — Фр. Листу. На первомъ вечерѣ исполнены были впервые (по корректурному оттиску) двѣ дополнительныя части сонаты баллады Метнера (часть первая издана отдельно подъ орнаментомъ 27), изобилующія отличной, глубокомысленной музыкой (особенно въ Mesto), но, какъ и все, написанное до сихъ поръ этимъ авторомъ, суховатой по своей фактурѣ. Чудесно, легко, вдохновенно сыграно было Боровскимъ prestissimo volando четвертой скрипичной сонаты. Въ передачѣ же второй сонаты Прокофьевъ наблюдалась нѣкоторая отчужденность піаниста отъ бунтарского духа автора „Сарказмовъ“, да и съ точки зрѣнія передачи самого потного текста (особенно въ первой части) не все звучало достаточно увѣренно. Въ своей настоящей стихіи А. Боровскій чувствовалъ себя при исполненіи листовской фортепианной музыки. Въ программѣ рядъ передложений изъ Баха и Шуберта: „Funerailles“, „Eclogue“, „Les jeux d'eau à la ville d'Este“, „Mephisto valse“ и др. Сколько въ этихъ пьесахъ поэзіи, смѣлыхъ художественныхъ замысловъ, музыкальныхъ пророчествъ о тѣхъ гармоническихъ новшествахъ, которыхъ впослѣдствіи осуществлены были полностью Ваг-

неромъ, Римскимъ-Корсаковымъ, Скрибиномъ. Переданы были эти произведения съ рѣдкимъ, виртуознымъ блескомъ и превосходнымъ оттѣнениемъ въ нихъ всего музыкально значительного. Прямо стихійной, демонической силой проникнуто было исполненіе Mephisto вальса.

Камерный вечеръ С. Кусевицкаго

С. А. Кусевицкій, въ силу обстоятельствъ переживаемаго нынѣ времени принужденный прервать временно свои симфонические концерты въ Петроградѣ, въ нынѣшнемъ году выступилъ на собственномъ камерномъ вечерѣ въ качествѣ виртуоза на контрабасѣ. Обширная аудиторія, собравшаяся въ залѣ Тенишевской училища, едва ли подозревала, что неуклюжее скрипковое чудовище, самымъ ходомъ музыкальной истории обреченнное на чисто служебную роль въ современномъ оркестрѣ, способно подъ искусствами пальцами артиста издавать звуки, пленяющіе своей своеобразной красотой. Едва ли со временемъ величайшихъ итальянскихъ виртуозовъ искусство игры на контрабасѣ имѣло такого блестящаго представителя, какого оно нашло въ лицѣ С. Кусевицкаго. Его техника (особенно чистота игры двойными нотами и флаголетами) граничитъ съ колдовскими наважденіемъ, и что самое цѣнное — она построена исключительно на точномъ знаніи выразительныхъ средствъ инструмента. Можно выразить только сожалѣніе, что Кусевицкому до сихъ поръ не пришлось создать прочнаго круга учениковъ, хранящихъ завѣты его изумительного техническаго мастерства. Въ программѣ вечера — концертъ Моцарта, въ оригиналѣ предназначавшійся для фагота (замѣна фагота контрабасомъ, сдѣланная Кусевицкимъ, тѣмъ болѣе естественна, что во времена Моцарта самый инструментъ, на которомъ играть артистъ, носилъ название „Fagottgeige“), со стильной каденціей исполнителя, „Kol Nidrei“ Бруха и контрабасный концертъ собственного сочиненія, представляющей своего рода высшую школу игры на этомъ инструментѣ. Участвовавшая въ камерномъ вечерѣ Кусевицкаго

А. Эль-Туръ обнаружила въ передачѣ старо-англійскій пѣсенъ и романсовъ Грига прекрасную вокальную школу и отмѣнныи музикальный вкусъ.

Сольные концерты піанистокъ, піанисты, пѣвцовъ, пѣвицъ, скрипачей, віолончелистовъ сыпаются, какъ пять рога изобилия. Кажется, ни одинъ изъ предыдущихъ музыкальныхъ сезоновъ не былъ въ такой мѣрѣ перегруженъ концертами, какъ нынѣшній. Однако подлинно интересныхъ и запоминающихся моментовъ въ этой музыкальной вакханалии не такъ ужъ много. Изъ многочисленныхъ матеріаловъ, напомнившихъ за послѣдніе два-три мѣсяца, извлекла программу недав资料ного романсаго вечера превосходнаго камернаго пѣвца А. Л. Александровича изъ произведеній Листа (вокальная рапсодія „Три цыгана“, сочиненіе прелюбопытное, „Сerenада“, „Сонетъ Петrarки“), Дебюсси, Делакра (интимный отрывокъ „Изъ книги Монеллы“), Равеля (жутко захватывающая надгробная молитва — „Еврейская пѣснь“) и Мусоргскаго — переданныхъ имъ, совместно съ А. Зилоти, въ высокой степени художественно и тонко; затѣмъ упомяну еще о фор-тепіанномъ вечерѣ И. С. Миклашевской, высоко культурной, разносторонне одаренной артистки, игравшей Брамса, Дебюсси, Равеля и румынскаго импресіониста Энеско. Наконецъ — и этимъ закончу настоящій обзоръ — нельзя не отметить и зарожденіе новаго струнного квартета, въ составѣ И. Піастро, Б. Виткина, Н. Шифферблата и Д. Зиссермана, проявившихъ на четырехъ вечерахъ русской музыки (изъ произведеній Чайковскаго, С. Таїрова, Глазунова, Бородина, Глѣрова), устроенныхъ герцогиней О. Н. Лейхтенбергской, прекрасную техническую подготовленность, безукоризненный музикальный вкусъ и рѣкое единодушіе совместной игры.

„Золотой пѣтушокъ“

„Золотой пѣтушокъ“, которому пришлось испытать столько тяжкихъ мытарствъ въ условіяхъ русской действительности, послѣ шестиѣтнаго

перерыва вновь озарилъ наши души свѣтомъ радостнаго звукотворчества. Правда, затѣйливая 'небылица въ лицахъ' поставлена на этотъ разъ кустарно на сценѣ оперы Народнаго Дома, но такова впечатляющая сила корсаковской музыки, что даже въ условіяхъ неудачной постановки она завораживаетъ пась своей пѣнитальной изрѣй. Слова композитора, что опера есть раньше всего произведение музыкальное, нашли, на этотъ разъ, къ счастью, свое осуществленіе, благодаря несомнѣнной талантливости дирижера Пазовскаго. Его умѣлое руководство оркестромъ и исполнителями искусило многочисленные грѣхи обстановочной части и создало художественно убѣдительное воплощеніе сказки.

Съ точки зренія музыкальной, главнымъ затрудненіемъ при передачѣ корсаковской 'небылицы въ лицахъ' является установление равновѣсія между элементами оперного дѣйства. Въ 'Золотомъ пѣтушкѣ' воедино слиты начала старобытнаго народнаго творчества, эпическая, драматическая, лирическая. И даже въ тѣ моменты, когда музыка кажется преобладающей надъ сюжетомъ, надо помнить, что это преобладаніе мнимое, именно въ силу глубочности 'драмы' Пушкина.

Эта основная предпосылка художественной постановки 'Золотого пѣтушка' отлично выполнена была Пазовскимъ, но другіе сценическіе дѣятели Народнаго Дома до полнаго искаженія замысла Римскаго-Корсакова постарались подчеркнуть 'небылицу', 'балаганъ'. И получилось нѣчто невыносимо безвкусное, съ претензіями на игру марionеточного театра. Удручающее впечатлѣніе производили декорации, костюмы и антимузыкальность постановки массовыхъ сценъ. Изъ исполнителей основныхъ ролей хороши были лишь двое: Горская (Шемаханская царевна), обладательница красиваго сопрано, и Н. Рождественскій, создавшій своей передачей труднѣйшей теноровой партіи впечатлѣніе жуткаго колдовства. При всѣхъ этихъ недочетахъ возобновленіе 'Золотого пѣтушка' нельзя не признать художественнымъ событиемъ.

+ Э. Ф. Направникъ (1839—1916).

Въ лицѣ скончавшагося 20 октября Э. Ф. Направника русскій музыкальный міръ потерялъ одного изъ крупнѣйшихъ своихъ культурныхъ дѣятелей. Его жизненный путь былъ тѣсно связанъ съ судьбами Маріинскаго театра, служенію которому онъ посвятилъ всѣ свои лучшія силы. Неутомимой полувѣковой работѣ,—особенно той блестящей эпохѣ жизни Направника, когда онъ безраздѣльно руководилъ всей художественно-музыкальной стороной постановокъ,—лучшая изъ русскихъ оперныхъ сценъ обязана своимъ расцвѣтомъ. Безконечно преданный дѣлу Э. Ф. Направникъ никогда не отдавался во власть своихъ личныхъ вкусовъ—а послѣдніе неизмѣнно тяготѣли въ сторону лирической оперной музыки въ духѣ Чайковскаго,—внимательно и любовно подготовляя къ постановкѣ произведенія даже чужды ему по стилю, разъ они включены были въ репертуаръ. Этотъ духъ подлиннаго служенія искусству, проникавшій всю его дирижерскую дѣятельность, спаялъ въ одно органическое цѣлое подвѣdomственную ему разнокар acterную массу пѣвцовъ и оркестровыхъ музыкантовъ. Именно обаяніемъ его личности была достигнута та изумительная стройность исполненій, которой отмѣчены наиболѣе удачные постановки въ Маріинскомъ театрѣ. Творческая личность Направника не отличалась яркостью. Характерны особенности его отличного оркестроваго письма въ значительной мѣрѣ затѣнены вліяніемъ Чайковскаго. Изъ оперъ его едва ли не одинъ 'Лубровскій' имѣть некоторую возможность удержаться въ репертуарѣ. Еще менѣе—жизнеспособны его симфоническая и камерная произведенія. Но неувѣдаемы заслуги Направника въ исторіи русскаго исполнительскаго искусства. При вступлении своемъ на службу въ Императорскихъ театрахъ онъ нашелъ Маріинскую сцену въ совершенно заброшенномъ состояніи, нынѣ же, благодаря его подвижническому труду, художественная слава нашего національнаго опернаго театра разнеслась далеко за предѣлы второй родины Направника.

Евгений Браудо.

НОВЫЕ КНИГИ

Каталогъ музея Императорской Академіи Художествъ. Русская живопись. Издание И. А. Х. Печать худ.-граф. заведенія 'Уніонъ'. II. 1915.

Необходимость нового каталога академического музея чувствовалась очень и очень давно. До самыхъ послѣднихъ лѣтъ посѣтителю этого забытаго и публикой и администрацией и тѣмъ не менѣе чрезвычайно цѣнного собранія русскихъ картинъ предлагали стариннѣйший каталогъ, составленный еще А. И. Сомовымъ въ 1872 г. (sic!). Кромѣ того, что въ сомовскій списокъ вошла только ничтожная часть теперешняго состава галереи, въ немъ описывался цѣлый рядъ картинъ, уже не бывшихъ въ музѣѣ, а переданныхъ въ 1897 г. въ Русский музѣй. Итакъ, намъ надо поздравить нашу *alma mater* не съ выпускомъ каталога, т. к. она обязана это сдѣлать, а съ тѣмъ, что она уничтожила, наконецъ, одинъ изъ печальныхъ знаковъ своего служебнаго нерадѣнія. Съ 1872 года удовлетворяться однимъ каталогомъ для музѣя, непрерывно растущаго и мнѣняющаго въ отдельныхъ частяхъ — это примѣръ классической! Правда, въ послѣдніе годы Академіи Художествъ принялась издавать книги (чего она раньше рѣшительно не терпѣла) и — что удивительно — хорошо издавать... Въ добрый часъ!

Хорошо издана и данная книжка, хотя ради выдержанности общаго тона (коричневый тонъ печати и желтоватый бумаги) краска reprintций была взята сугубо-асфальтовая, въ ущербъ отчетливости изображаемаго. Въ печати уже успѣла возникнуть цѣлая полемика вокругъ этого каталога и ея составителя — С. К. Исакова. А именно: не въ мѣру чувствительное къ памяти своего патрона — Общество имени Куинджи сочло оскорбительными нѣкоторыя свѣдѣнія въ curriculum vitae A. И. Куинджи, приложенномъ къ описанію имѣющихъся въ музѣѣ картинъ славнаго нашего пейзажиста. Между тѣмъ, на нашъ взглядъ, сообщеніе о томъ, что Куинджи хотя и покрасилъ въ юности Айвазовскому заборъ, но

все же въ ученики имъ не былъ принятъ, или что онъ провалился дважды на экзаменахъ въ Академіи, только указываетъ на упорство, съ которымъ Куинджи, несмотря на тяжелый условія, добивался завѣтной цѣли. Впрочемъ, обида куинджистовъ приводится нами лишь какъ примѣръ тѣхъ препонъ, часто ничего не имѣющихъ общаго съ искусствомъ, который приходится преодолѣвать каждому работающему подъ сѣнью Академіи Художествъ. Сама идея, которой руководился С. К. Исаковъ при своей работѣ, очень хороша: 'Академіческий музѣй — это музѣй Академіи Художествъ'. Отсюда вполнѣ определенно намѣчаются и роль галереи, и задача ея каталога: 'собирать материалъ для характеристики той роли, которую существующее при Академіи высшее художественное училище играетъ въ общемъ ходѣ русской художественной жизни.' Ограничивающая такъ свою роль, музѣй Академіи Художествъ не только не обезѣниваетъ себя, но наоборотъ только выясняетъ и опредѣляетъ свою подлинную и значительную цѣнность. Надо лишь пожелать, чтобы такъ же умно, какъ устранилъ академіческий музѣй всякую возможность соперничества съ такими картинными хранилищами, какъ Русскій музѣй или Третьяковская галерея, и эти послѣдніе музѣи выяснили свои взаимоотношенія. Тогда мы бы увидѣли богатую и планомѣрную работу всѣхъ четырехъ (включая Румянцовскій музѣй) нашихъ государственныхъ хранилищъ — могущихъ безъ всякаго соперничества прекрасно дополнить одинъ другое. Только бы была ясно определена задача каждого, какъ прекрасно выяснилъ ее себѣ музѣй Академіи Художествъ!

Кромѣ основной задачи — быть музѣемъ Академіи Художествъ — названная галерея береть на себя еще и другую, тоже очень интересную: собирать произведения художниковъ, хотя уже не связанныхъ прямо съ Академіей Художествъ, но 'представляющихъ особый интересъ для учениковъ Высшаго художественнаго училища'. Такое собирательство началось пока весьма удачно. Мы имѣемъ теперь возможность видѣть въ едотовскую акварель 'Все холера виновата', врубелевъ

скій эскизъ „Сцена изъ римской жизни”; очень зорко были выбраны на недавнихъ выставкахъ Сѣровъ (два рисунка къ баснямъ и эскизъ Наважденія), Рѣпинъ („Гоголь и о. Матвій”). Рябушкинъ („Ожиданіе новобрачныхъ”), на конецъ чрезвычайно важнымъ приобрѣтеніемъ музея является купленная въ 1903 г. прекрасная програмная работа Александра Иванова — „Лосиѣ въ темнице”.

Починъ, сдѣланный Академіей къ оживленію общественного вниманія къ ея забытому, но значительному музею — вышелъ удачнымъ. Остается пожелать, чтобы дѣло не остановилось на полдорогѣ. Музей сейчасъ кажется спрятаннымъ гдѣ то въ нѣдрахъ громадного зданія Академіи. Не сдѣлано для оповѣщенія публики самой простой вещи — надписи со соответствующими указаніями у входной двери съ улицы! Эта недосмотръ представляется намъ еще одной причиной, почему „широкая публика” мало знакома съ академическимъ музеемъ вообще и съ имѣющимся въ немъ собраніемъ русской школы живописи въ частности”, кромѣ, указанного С. К. Исаковыемъ, постояннаго заполненія залъ музея періодическими выставками.

Вс. А.И.

Вячеславъ Ивановъ. Борозды и межи. Опыты эстетические и критические. Москва. Издательство „Мусагетъ”. 1916. Стр. 351. Цѣна 2 р. 75 к.

Послѣдняя книга Вячеслава Иванова сводить воедино недавнія его статьи литературно-философского характера. Среди нихъ нѣкоторыя весьма примѣчательны и представляютъ интересъ длящаагося значенія. Таковы — „Достоевский и романъ-трагедія” съ блестящимъ экскурсомъ объ основномъ миѳѣ въ романѣ „Бѣсы”. Такого же значенія статья о религіозномъ дѣлѣ Владимира Соловьева. Нѣкоторыя изъ этихъ статей, какъ „Чурлянисъ”, „Поэзія Иннокентія Анненского”, „Завѣты Символизма”, замѣтки о кризисѣ театра, — появились въ свое время въ „Аполлонѣ”. Изъ числа послѣдніхъ самая значительная — „Завѣты Символизма”, въ которой поэтъ раскрываетъ исповѣданіе символической школы, изъясняя су-

щество и внутреннее значеніе символа, какъ средства познанія, мѣра черезъ поэзію, какъ раскрытие иѣкої тайны. Эта статья кончается словами, надъ которыми молодымъ портамъ нашимъ слѣдовало бы задуматься: „Въ поэзіи хорошо все, въ чемъ есть поэтическая душевность. Не нужно желать быть „символистомъ”; можно только наединѣ съ собой открыть въ себѣ символиста — и тогда лучше всего постараться скрыть это отъ людей... Но вое не можетъ быть куплено никакою другою цѣною, кромѣ внутреннаго подвига личности. О символѣ должно помнить завѣтъ: „Не приемли всуе”. И даже тотъ, кто не всее приемлетъ символъ, долженъ шесть дней дѣлать — какъ если бы онъ былъ художникъ, вовсе не знающій о „realiora”, — и сотворить въ нихъ всѣ дѣла свои, чтобы одинъ, седьмой день недѣли отдать, въ выше истолкованномъ, торжественномъ смыслѣ, — для вдохновенія, для звуковъ сладкихъ и молитвъ”.

Въ этихъ словахъ мы чувствуемъ признаніе того, что для Вячеслава Иванова писательская его работа, въ особенности часть ея, посвященная поэзіи, есть какъ бы іератическое служеніе. Такъ сливалъ свою жизнь съ творчествомъ, Вячеславъ Ивановъ заслужилъ не только признаніе многихъ, но и почтеніе тѣхъ, кто часто не совсѣмъ ясно представляетъ себѣ кругъ идей поэта. Въ этомъ отношеніи къ Вячеславу Иванову примѣнны горькія, извѣтныя слова, коими характеризуется отношеніе широкихъ читательскихъ массъ къ классикамъ: „ихъ уважаютъ, не читая”.

Въ краткой библиографической замѣткѣ очень трудно дать критическую оценку мыслей, предложенныхъ Вячеславомъ Ивановымъ въ его статьяхъ о Достоевскомъ, Соловьевѣ, Толстой. Эти мысли, оригинальныя, глубокія, насыщенные религіознымъ паѳосомъ, представляютъ новизну, новое истолкованіе. Въ нихъ — свидѣтельство времени, новыхъ течений. Если не сегодня, завтра войдутъ они въ новыми чертами въ творимыя временемъ легенды, коими стали для насъ — Достоевский, Толстой, Соловьевъ.

Другія, болѣе мелкія статьи о Чурлянисѣ, Иннокентіи Анненскомъ менѣе показательны

отчасти потому, что въ нихъ личность Вячеслава Иванова заслоняет Чурляниса и Аниенского, отчасти по той причинѣ, что въ оцѣнкѣ творчества изобразительного намъ хочется найти не философское его истолкованіе, а какими угодно путями достигнутую передачу красочнаго очарованія художника. Статья о Чурлянисѣ есть столь любимый Вячеславомъ Ивановымъ экскурсъ на тему о художникѣ Чурлянисѣ, но въ этомъ экскурсѣ не раскрываются тайны творческихъ видѣний Чурляниса, гипнозы его красокъ. Мы прочли эту статью, думая больше о Вячеславѣ Ивановѣ, чѣмъ о музыкальномъ художникѣ Литвы.

Снова и снова статьи Вячеслава Иванова ставятъ насъ передъ мыслью, не долженъ ли мыслитель такого масштаба, поэзъ такого напряженія принять на себя величайшую тяготу—тяготу простого стиля.

Въ самомъ дѣлѣ, если поэзія Вячеслава Иванова іератична, если мы не имѣемъ права въ этой области навязывать ему наши вкусы, ибо нельзя учить вѣрующаго, какъ онъ долженъ молиться, то проза его, скажемъ—публицистика, какъ всякая проповѣдь, должна служить главному назначенію всякой проповѣди—обращенію въ вѣру. Для этого она должна быть понятна не только избраннымъ, посвященнымъ, но и ждущимъ посвященія. Если сегодня читатель, лишенный филологического образованія, незнакомый съ философской литературой и въ то же время чуткій, отзывчивый, съ „горящимъ сердцемъ“—бывают же такие среди простыхъ людей, и е философовъ и не филологовъ,—отбросить „Бороды и межи“, по недостаточной ихъ доступности,—мы думаемъ, во многомъ виноватъ будетъ авторъ ихъ.

Изъясня зображеніе реалистического символизма, Вячеславъ Ивановъ пишетъ: „Въ процессѣ творчества, обратномъ процессу восприятія, обусловливается онъ нисхожденіемъ художника отъ предварительного интуитивного постиженія высшей реальности къ ея воплощенію въ реальности низшей—*a realioribus ad realia*. Если это такъ, необходимо, для цѣлостнаго постиженія этого эпоса—трагедіи, раскрыть затаенную въ глубинахъ его налич-

ность иѣкоего—эпического по формѣ, трагического по внутреннему антиномизму—ядра, въ коемъ изначала сосредоточена вся символическая энергія цѣлаго и весь его, высший реализмъ‘, т. е. коренная интуїція сверхчувственныхъ реальностей, предопредѣлившая эпическую ткань дѣйствія въ чувственномъ мірѣ. Такому ядру символического изображенія жизни приличествуетъ наименование міа. Міеъ опредѣляемъ мы, какъ синтетическое сужденіе, гдѣ подлежащему-символу приданъ глагольный предикатъ‘. Въ такомъ же духѣ строится дальнѣйшее опредѣленіе міа, за-качивающееся, наконецъ, утвержденіемъ, что „истинный реалистическій символизмъ, основанный на интуїціи высшихъ реальностей, обрѣаетъ этотъ принципъ жизни и движенія (глаголь символа, или символъ—глаголь) въ самой интуїціи, какъ постиженіе динамического начала умопостигаемой сущности, какъ созерцаніе ея актуальной формы, или, что то же, какъ созерцаніе ея міровой дѣйственности и ея мірового дѣйствія“.

Любопытно, что приведенный отрывокъ открываетъ отмѣченный нами въ началѣ экскурса о „Бѣсахъ“, что этотъ экскурсъ быть произнесенъ, какъ рѣчь, въ московскомъ Религіозно-философскомъ обществѣ и быть напечатанъ въ распространенномъ журнальѣ „Русская Мысль“, тамъ же, гдѣ были напечатаны романы гг. Андрея Соболя, О. Миртова, Русова, Абелъярова и другихъ, до повѣсти г-жи Тырковой включительно. Мы увѣрены, что количество читателей, прочитавшихъ всю эту белетристическую дребедень, несравненно значительнѣе тѣхъ, что нашли въ себѣ охоту и силы дочитать до конца экскурсъ Вячеслава Иванова. Между тѣмъ, если бы они его дочитали, имъ, конечно, легко открылась бы чудесная прелестъ строкъ о вѣчной женственности въ аспектѣ русской души.

Еще тѣгостище намъ думать о томъ, какъ должны быть звучать приведенный отрывокъ передъ обширной аудиторіей Религіозно-философского общества. Можно не быть ораторомъ, можно въ реторикѣ отрицать элементы искусства, но публичное выступленіе обязываетъ, какъ „обязываетъ символизмъ“.

Изложенные трудности усвоения статей Вячеслава Иванова обидны въ особенности потому, что въ тѣхъ же „Бороздахъ и межахъ“ мы находимъ образцы языка простого, сильного, торжественного, впечатляющего. Читатели „Аполлона“ простятъ, если одинъ такой отрывокъ мы приведемъ въ концѣ настоящей замѣтки:

Достоевский каждой судорогой нашего сердца отвѣчаетъ: „знаю, и дальше, и больше знаю“; каждому взгляду поманившаго насъ водоворота, позвавшему насъ бездны онъ отзыается иѣніемъ головокружительныхъ флейтъ глубины. И вѣчно стоитъ передъ нами, съ испытующимъ и неразгаданнымъ взоромъ, неразгаданный самъ, а насъ разгадавшій,—сумрачный и зоркій вожатый въ душевномъ лабиринтѣ нашемъ,—вожатый и соглядатай.

Онъ живъ среди насъ, потому что отъ него или черезъ него все, чѣмъ мы живемъ,—и нашъ свѣтъ, и наше подполье. Онъ великий зачинатель и предопредѣлитель нашей культурной сложности... Онъ сдѣлалъ сложными нашу душу, нашу вѣру, наше искусство, создалъ,—какъ Тернеръ создалъ лондонскіе туманы!—т. е. открылъ, выявилъ, облечъ въ форму осуществленія—начинавшуюся и еще не осознанную сложность нашу».

Афоризмъ Оскара Уайлдъ: „Чтобы опредѣлить вино, достаточно пригубить его, чтобы полюбить писателя — прочесть первыя его строки!—поистинѣ, терпѣть крушеніе на примѣрѣ Вячеслава Иванова. Но въ этомъ иѣть еще побѣды нашего поэта.

Ки. Сергѣй Волконскій. Отклики тeatra. Петроградъ. 1914. Издано въ пользу раненыхъ воиновъ. Тип. „Сиріусъ“. Стр. 204. Цѣна 1 р. 50 к.

Въ книзѣ Сергѣя Волконскаго сочетаются два начала: это человѣкъ, изящно чувствующий, благодарный всякой красотѣ, какая только представится глазу, чутко настороженный къ маѣшему безвкусію, и въ то же время — это пропагандистъ. Ки. Волконскій — самый горячій и преданный адентъ теоріи ритмической гимнастики Жака Далькроза. Легко понять,

какъ человѣкъ большого астетического развитія дошелъ до самоотверженной преданности одной теоріи, одному методу. Въ области стихіи, столь измѣнчивой, какъ красота, въ царствѣ представлений, столь субъективныхъ, какъ представлениія наши о прекрасномъ, заманчиво влекутъ къ себѣ всякая точность, всякое достижениe, основанное на провѣренномъ опыте.

Система воспитанія человѣческаго тѣла музыкой, предложенная Жакомъ Далькрозомъ, представляеть, безъ сомнѣнія, очень цѣнныій матеріаъ, иѣкую новую дорогу, однако далеко не столь неожиданную, какой она представляется сторонникамъ ритмической гимнастики. Въ основѣ ея, въ сущности, лежить все тотъ же принципъ экономіи силъ, мудро предложенный природой въ путяхъ ритма. Мы знаемъ, что ритмическія теоріи отнюдь не составляютъ преимущества искусствъ: они же предложены физикой, натурь-философіей, химіей, даже политической экономіей, гдѣ рядъ изслѣдователей пытаются на ритмѣ обосновать силу рабочей массы, ростъ и упадокъ народонаселенія и даже періодически повторяющіеся экономические кризисы. Однако ни въ какой научной дисциплінѣ эти теоріи не являлись все отворяющимъ Сезамовымъ ключомъ. Отъ чрезмѣрныхъ увлечений людей науки къ этихъ случаяхъ предохраняла привычка изслѣдовывать предметъ методологически.

Въ области искусствъ вопросъ стоитъ иначе. Ки. Волконскому не удалось то, что было выше силъ его предшественниковъ. Эта неудача особенно ярко отразилась на послѣдней его книзѣ. Въ прежнихъ изданіяхъ, а также при первомъ печатаніи отдѣльныхъ замѣтокъ разбираемой книги, личность кн. Волконскаго представлялась читателю всегда въ одномъ аспектѣ: и ли тонкаго наблюдателя, и ли пропагандиста новой теоріи. Въ первомъ случаѣ читателя привлекали иѣткія наблюденія автора о недостаткахъ сценическаго произношенія, акцента, фразировки, неизѣптихъ отдѣльныхъ режиссерскихъ постановокъ и т. д. Статьи же кн. Волконскаго, посвященные непосредственно пропагандѣ теоріи Жака Далькроза увлекали читателя живостью и нагляд-

ностью изложения, любопытными сопоставлениями и т. д. Это были, въ подлинномъ смыслѣ, краснорѣчивыя статьи.

Но когда авторъ собралъ ихъ въ одной книгѣ, явственно бросилась въ глаза двойственность писательской его природы. Пропагандистъ съ чрезмѣрной настойчивостью мѣшаетъ наблюдателю красоты, цѣнителю искусства. Оцѣнка художественныхъ явлений требуетъ свободы, какъ всякое рѣшеніе суды: этой свободы не можетъ быть у пропагандиста. Психологическая связность автора, не умѣющаго осилить пламенной преданности своей теоріямъ ритмической гимнастики, мѣшаетъ читателю и обезсилаиваетъ эффектъ мѣткіхъ и часто вѣрныхъ замѣчаній кн. Волконского (например, въ замѣткѣ о постановкѣ „Электры“ въ Маринскомъ театрѣ).

Эта же психологическая связность приводить кн. Волконского въ цѣломъ рядѣ случаевъ къ переоцѣнкамъ. Многіе, конечно, не согласятся съ утвержденіемъ кн. Волконского, что „Московская студія“ можетъ быть, самая большая заслуга Художественного театра. Натуралистическія постановки этого „театра молодыхъ“, ни по избранному ими репертуару, ни по методамъ режиссуры не могутъ расчитывать на такую оцѣнку. Эти постановки нисколько не молоды, потому что не открываютъ никакихъ путей: въ нихъ много добросовѣтности и нѣтъ нерва исканий. Какъ ни относиться къ послѣднимъ постановкамъ московского Художественного театра, онѣ во всѣхъ отношеніяхъ интересны. Въ нашей печати московский Художественный театръ имѣть нѣсколькоихъ благожелательныхъ критиковъ, весьма почтенныхъ, но отжившихъ литераторовъ, которые совершили въ духѣ любящихъ родственниковъ преподать ему благожелательные совѣты, изрѣдка журять и т. д., дѣлая то и другое съ одинаковымъ отсутствиемъ вкуса. Обидно видѣть въ средѣ ихъ, хотя бы случайно, кн. Волконского.

Въ равной мѣрѣ несправедлива благожелательная оцѣнка, данная княземъ Волконскимъ постановкѣ Н. Н. Евреинова „Франческа да Римини“. Въ этой постановкѣ самымъ талантливымъ былъ—Н. Н. Евреиновъ, но онъ не

выдержалъ всесокрушающаго натиска любителей. Зато очень счастливо удаются кн. Волконскому тѣ статьи его, въ которыхъ онъ забываетъ о своей обязанности быть опекуномъ теоріи Жака Далькроза въ Россіи. Въ книжкѣ помѣщена одна такая статья: „О кинематографѣ“. Она написана свѣжо, молодо, увлекательно, краснорѣчиво, даетъ представление о кн. Волконскомъ, какъ прекрасномъ ораторѣ (статья эта такъ и написана: не писателемъ, а ораторомъ изъ числа—по опредѣленію С. А. Андреевскаго—говорящихъ писателей").

Откликамъ театра предписано объявление автора, что книга писалась въ мирное время и, чтобы оправдать ея появленіе въ свѣтѣ, весь чистый сборъ назначается раненымъ воинамъ. Мы не сомнѣваемся, что книга найдетъ распространеніе въ средѣ читателей, которымъ имя кн. Волконского извѣстно и пріятна читательская съ нимъ бесѣда. Симпатичная цѣль изданія заставляетъ пожелать ему успѣха, но мы думаемъ, что и въ военное время музы не должны умолкать: звучный говоръ ихъ никогда не требуетъ „оправданій“.

Александръ Гидони.

К. М. Миклашевскій. Кровожадный Турка и Волшебникъ Магги. Сценарій комедіи въ трехъ дѣйствіяхъ. П. 1916, II, 2 р. 75 к.

Въ настоящее время театральные теоретики удѣляютъ особое вниманіе проблемѣ импровизаціи, повидимому надѣясь въ ней найти основаніе для построенія новыхъ формъ театра будущаго.

К. М. Миклашевскій, блестящій изслѣдователь судьбы итальянского театра эпохи Возрожденія, произвелъ интересный сценический опытъ: написалъ въ традиціяхъ итальянской импровизованной комедіи сценарій къ пьесѣ, сюжетъ которой взятъ изъ событий нашей дѣйствительности. Турецкій властитель Диванъ-Халаатъ-Паша, узнавъ о приближеніи русскихъ войскъ, прячетъ свое золото въ подвалѣ. Одна изъ его многочисленныхъ женъ, прекрасная Сатеникъ, влюбленная въ молодого армянина Арама, отвергнувъ любовь волшеб-

ника Магти, секретаря Дивана, похищаетъ кладъ и убѣгаєтъ изъ подземелья вмѣстѣ со своимъ возлюбленнымъ.

Диванъ-Хадаатъ-Паша и его повѣренный въ сердечныхъ дѣлахъ, волшебникъ Магти, чрезвычайно опечалены, какъ приближеніемъ русскихъ войскъ къ ихъ подвалу, такъ и измѣнной прекрасной Сатеники.

На фонѣ этой несложной интриги авторъ сценарія сумѣлъ создать программу большого театрального представления съ музыкой, пѣніемъ и танцами. Сценарій имѣетъ сѣдланъ мастерски: указаны основные лаизи, приложенъ перечень театральныхъ аксессуаровъ, пользуясь которымъ можно разработать рядъ затѣйливыхъ сценическихъ положеній, и актерамъ, намѣревающимся разыграть эту комедію, предложенъ рядъ темъ для діалоговъ.

Авторъ сценарія, не преслѣдуя задачъ ни реставрационнаго, ни стилизационнаго характера, схватилъ самую сущность итальянской буфонады и сообщилъ своимъ, пожалуй, черезчуръ злободневнымъ театральнымъ персонажамъ нѣкоторыя черты масокъ итальянской импровизованной комедіи.

Привѣтствуя отъ души опытъ К. М. Миклашевскаго, мы очень бы хотѣли увидѣть его осуществленнымъ на сценѣ одного изъ петропавловскихъ театровъ для сужденія о способности российскихъ актеровъ къ импровизованному творчеству.

И. Н. Игнатовъ. Театръ и зрители. Часть I. Первая половина XIX ст. К—во „Задруга“. М. 1916. Ц. 3 р.

Скудный списокъ работъ по истории нашего отечественного театра пополнился еще одной, должностной освѣтъ тѣ взаимоотношенія, которыя существовали между русской сценой и зрительнымъ заломъ въ первой половинѣ истекшаго столѣтія.

Своей книгѣ г. Игнатовъ предполагаетъ введеніе теоретического характера, где онъ берется за обсужденіе интереснейшей темы, ставя себѣ цѣлью: определить сущность и значеніе театра и выяснить его вліяніе на нравы той или иной эпохи. Къ сожалѣнію, незначитель-

ная эрудиція автора и отсутствіе научного метода не способствуютъ разрѣшенію вопроса, а только запутываютъ самый подходъ къ нему. Безъ всякой критической оцѣнки, авторъ разбираемой нами книги соединяетъ въ одно цѣлое отрывистыя, часто противорѣчащія другъ другу мнѣнія ученыхъ филологовъ, физиологовъ, писателей, современниковъ той или иной эпохи и, разсказывая исторію возникновенія западно-европейскаго театра, часто впадаетъ въ ошибки (такъ, напр., онъ считаетъ явленіями одного и того же порядка греческія мистеріи, связанные съ культомъ Діониса, и средневѣковыя мистеріи, возникшія изъ необходимости демонстраціи библейскихъ событий). Въ концѣ концовъ онъ устанавливаетъ паралель между вліяніемъ театра на зрителей и дѣйствиемъ индійскаго яда кураме на нервную систему, открытымъ физиологомъ Клодомъ Бернаромъ. Сужденіе, которое очень и очень можно оспаривать.

Отличительный признакъ большинства работъ по истории русского театра составляетъ пересказъ содержанія пьесъ, подкрѣпленный мнѣніями о нихъ современниковъ. Очень рѣко кто либо изъ изслѣдователей пытается произвести историко-литературный анализъ нашей драматической литературы и нарисовать картину театральной жизни цѣлой эпохи, отрѣшившись отъ пристрастія ея современниковъ. Книга г. Игнатова всецѣло обладаетъ этими недостатками, къ которымъ еще слѣдуетъ присоединить отсутствіе исторической перспективы и своеобразный литературный вкусъ автора, тяготѣющаго къ общественности. Такъ ли ужъ бѣдны были театральными событиями Александровская и николаевская эпохи? Неужели наши предки, поѣздавъ театръ, умѣли только проливать горячія слезы умиленія надъ пьесами Августа Коцебу или безудержно хохотать, смотря водевиль и слушая куплеты:

Вотъ, напримѣръ, разборъ
Пиесы Полевого:
И авторъ, и актеръ
Тутъ не поймутъ ни слова.
И кто же рецензентъ
И драмы и артистовъ?

Какой нибудь студентъ

Педантъ изъ гегелистовъ.

А развѣ не была значительна роль тѣхъ знаменитыхъ любителей театра и высокихъ цѣнителей искусства россійской Мельчомены, которые чуть ли не дни и ночи проводили въ театрѣ, поощряли начинающіе таланты, писали для театра, переводили? Или, по мнѣнию г. Игнатова, вся ихъ любовь къ театру основана на томъ, чтобы танцовщицу держать? Односторонность взглядовъ г. Игнатова приводитъ его къ неправильной оценкѣ трагедій Озерова и къ ошибочному мнѣнію о старомъ водевилѣ.

Г. Игнатовъ отказываетъ въ художественности тѣмъ трагедіямъ, въ которыхъ запечатлѣлся романтический павсъ александровской эпохи, вызванный великими событиями, и которыхъ имѣли назначеніе „питать гордость народную священными воспоминаніями“.

Г. Игнатовъ удивляется тому вниманію, какое оказывали водевилю его современники, забывая о томъ, что водевиль воспиталъ цѣлый рядъ артистовъ, которыми по праву можетъ гордиться русскій театръ, и выработалъ тѣ спектакльные формы, которыми впослѣдствіи воспользовался Островскій.

Велесъ.

Гр. П. Шереметевъ. Вазѣмы. II. 1916. Лица, специально занимающіяся и просто интересующіяся русской церковной стариной, будутъ благодарны автору „Вазѣмы“, особенно за VI главу его книги. Хотя данные, касающіяся исторіи и современного состоянія извѣстной вяземской церкви, разбросаны авторомъ на протяженіи всей его интересной работы, тѣмъ не менѣе главная изъ нихъ онъ счѣлъ нужнымъ выдѣлить въ особую главу и въ ней снова всѣхъ ихъ объединить и систематизовать. Правда, въ оцѣнкѣ вяземского храма, какъ памятника архитектуры, гр. П. Шереметевъ рабски и скучно держится отзывовъ Суслова и Султанова, очевидно, не считая нужнымъ итти дальше. Зато онъ даетъ совершенно новые материалы относительно иконостаса церкви, сооруженнаго въ концѣ XVII в. Въ русскихъ церквяхъ, конечно, еще первѣ

достаточно хорошо сохранившіеся иконостасы петровского времени. Но всѣ они остаются пока мертвымъ капиталомъ и никѣмъ не обсаѣданы. Иконостасу вяземской церкви выпала болѣе счастливая доля: его иконы подверглись специальной расчисткѣ, причемъ наѣкоторыхъ изъ нихъ открылись подписи мастеровъ, ихъ писавшихъ. Часть иконъ дана авторомъ въ фотографическихъ снимкахъ, и приведены факсимиле всѣхъ подписей. Пусть это только второстепенные мастера, выученики ушаковской школы, имена которыхъ покеркли въ блескѣ имени ихъ учителя. Но намъ нужна эта ординарная „масса“, эта толпа посредственостей для сужденія о силѣ и степени того стиля, который переживалъ его создателей и превращался въ основу школы, въ капиталъ, коего не могли растратить, несмотря на все послѣдовательное свое вырожденіе, цѣлый поколѣнія иконниковъ. Работы по расчисткѣ иконостаса продолжались въ моментъ выхода „Вазѣмы“, и потому гр. Шереметевъ обѣщаетъ лишь впослѣдствіи дать „подробное“ описание иконъ. Будемъ ждать исполненія этого обѣщанія, надѣясь, что и количество и качество снимковъ съ иконъ будетъ соответствовать специальной задачѣ готовящагося описанія. Въ книжѣ имѣются еще воспроизведенія и краткія описания иѣкото-рыхъ предметовъ церковной утвари и даже фресокъ. Послѣдними надлежало бы заняться серьезно. Что же касается предметовъ утвари, то изъ нихъ сдѣлать выдѣлить на особое мѣсто целену съ изображеніемъ Преображенія Господня—топкій образецъ художественного шитья конца XVI вѣка.

А. Анисимовъ.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ВѢСТИ СЪ ЗАПАДА

И настоящую лѣтопись приходится начать съ некрологовъ,—на этотъ разъ относящихся ко вражескому стану. 38-ми лѣтъ, погибъ подъ Верденомъ небезызвѣстный историкъ искусства Фридѣцъ Бургеръ, редакторъ-издатель начавшаго выходить незадолго до войны сборнаго труда „Handbuch fr Kunsgeschichte“, встрѣченаго

специальной критикой съ большой похвалой. Бургеръ, кромѣ того, авторъ цѣнныхъ монографическихъ изслѣдований о надгробныхъ памятникахъ Флоренціи, виллахъ Палладіо, скульптурѣ Франческо Лаурана и др. Въ Мюнхенѣ скончался Георгъ Хиртъ, тамошній издатель множества трудовъ по истории искусства, авторъ ряда статей по эстетикѣ и основатель распространеннаго еженедѣльника *Jugend*, сыгравшаго извѣстную роль въ эволюціи новѣйшей графики конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтій.

Тоже своего рода некрологъ сообщаютъ изъ Венеціи. Послѣ уничтоженной фрески Тьеполо въ церкви Скальци, брошенной съ аэроплана бомба въ свою очередь сильно повредила эффектный плафонъ кисти Пьяцетты въ церкви Санъ Джованни е Паоло. Плафонъ изображаетъ апоеозъ св. Доминика и считается однимъ изъ выдающихся произведений венеціанскаго мастера. *Burlington Magazine* по этому поводу припоминаетъ, что въ прошломъ художественный сокровища церкви Джованни е Паоло потерпѣли еще болѣе невознаградимую убыль, когда въ 1867 г. отъ пожара въ капеллѣ дель Розаріо безвозвратно погибли тиціановская *Смерть св. Петра* и большая *Мадонна со святыми* Белліни.

Медальерное искусство съ самаго начала своего существованія всегда было спутникомъ великихъ историческихъ событий, и невольно возникаетъ вопросъ, какъ на немъ отразилась текущая война. Определенного отвѣта тутъ, конечно, пока еще дать невозможно, въ особенности съ художественной точки зрѣнія, но любопытны количественные данные находимъ въ каталогѣ медалей и монетъ за 1914 — 1916 г.г., недавно изданнымъ голландскимъ антикваромъ-нумизматомъ И. Шульманомъ. Оказывается, что въ Германіи война породила цѣлый дождь болѣе или менѣе художественныхъ медалей различного характера и содержанія, и среди нихъ немало сатирическихъ, направленныхъ противъ союзныхъ державъ. Шульмановский каталогъ въ цѣломъ перечисляетъ свыше 400 иѣменскихъ и нѣсколько десятковъ австро-венгерскихъ военныхъ медалей. На долю Франціи и Бельгіи

приходится не болѣе, какъ по десятку, въ Англіи же предсѣдатель Нумизматического общества въ іюлѣ мѣсяцѣ с. г. счѣль нужнымъ назначить двѣ стофунтовыхъ преміи для поощренія англійскихъ медальеровъ, до сихъ поръ создавшихъ лишь два-три военныхъ сувенира. У насъ мнѣ не приходилось ни видѣть настоящихъ памятныхъ военныхъ медалей, ни читать о нихъ, хотя, напримѣръ, взятіе Эрзерума или послѣдній брусиловскій прорывъ, казалось бы, настоятельно требовали увѣковѣченія въ бронзѣ. Въ указанномъ голландскомъ каталогѣ Россія почти не фигурируетъ. Въ составѣ администраціи иѣкоторыхъ лондонскихъ музеевъ произошли перемѣны. Директоромъ National Gallery недавно назначенъ Чарльзъ Хольмсъ, одинъ изъ основателей и бывшій редакторъ *Burlington Magazine*, а вдобавокъ недурной пейзажистъ, занимавшій въ послѣднее время постъ директора Национальной портретной галереи въ Лондонѣ. Освободившееся здѣсь съ уходомъ Хольмса директорское мѣсто отдано Джемсу Дональду Мильперу, и оба назначенія встрѣчены англійской художественной пресой очень сочувственно. Назначеніе Хольмса почти совпадло съ цѣннымъ даромъ, полученнымъ Национальной галереей отъ извѣстнаго лондонскаго антиквара Вертеймера, завѣщавшаго ей девять портретовъ кисти Сарджента. Эти эффектины, большого размѣра, изображенія членовъ семьи Вертеймера знакомы по выставкамъ и многочисленнымъ репродукціямъ, и иѣкоторые изъ нихъ причислены къ лучшимъ полотнамъ американо-англійского мастера. Нелишнимъ будетъ замѣтить, что передъ нами тутъ далеко не первый случай крупнаго пожертвованія въ пользу общественнаго музея со стороны лондонскаго торговца-антиквара, общій типъ котораго на западѣ въ наши дни настолько видоизмѣнился, что прежняя традиціональная, слегка снисходительная мѣрка къ нему ужъ больше непримѣнна. Какъ теперь стало извѣстно, жертвователемъ лондонскому музею былъ и трагически погибшій лордъ Китченеръ, хотя обликъ замкнутаго въ себѣ строгаго воина какъ то плохо вижется съ представлениемъ о любителѣ искусствъ. Однако, покой-

ный Китченеръ бытъ имъ, понималъ только въ старинной керамикѣ, живописи и рѣзбѣ, а будучи правителемъ Египта, онъ очень интересовался народнымъ искусствомъ края и, между прочимъ, составилъ себѣ тамъ коллекцію византійскихъ иконъ.

По части выставокъ слѣдуетъ упомянуть объ исключительно цѣнной коллекціи миниатюръ герцога Беклью (Duke of Buccleuch), въ настоящее время выставленной въ лондонскомъ Victoria and Albert Museum. Собрание это, насчитывающее около 700 номеровъ, даетъ полную картину развитія преимущественно англійской портретной миниатюры въ XVI, XVII и половинѣ XVIII вѣковъ, и въ немъ особенно представлены главные мастера этихъ эпохъ, начиная съ ихъ родоначальника Гольбейна. Условія военного времени лишили дирекцію лондонского музея возможности издать исчерпывающей каталогъ всей коллекціи, и пришлось ограничиться небольшой брошюрою, въ которой воспроизведено около сотни лучшихъ миниатюръ собранія. Прибавимъ, что среди нихъ имѣется и портретъ Петра Великаго, писанный шведско-французскимъ миниатюристомъ Шарлемъ Буа (Ch. Boit, 1662—1727). Отмѣченная здѣсь въ свое время выставка французского декоративного искусства XVIII вѣка, устроенная нынѣшнимъ лѣтомъ въ Парижѣ въ пользу раненыхъ воиновъ, теперьувѣко-вѣчена въ роскошномъ толковомъ каталогѣ, воспроизводящемъ всѣ болѣе значительные экспонаты интересной выставки. Издание отпечатано лишь въ 200 экземплярахъ, почти полностью разобранныхъ по подпискѣ.

Изъ другихъ новостей западнаго книжного рынка укажемъ на новый томъ польского историка культуры и искусства Казимира Хлендовскаго, посвященный Италии эпохи рококо и служащий дополненіемъ къ предыдущимъ сочиненіямъ автора объ итальянцахъ временъ возрожденія и бароко, который въ ближайшемъ будущемъ должны появиться въ русскомъ переводе. Итальянскій художественный критикъ Витторіо Пика выпустилъ недавно третью серию своихъ очерковъ по новому графическому искусству, посвященныхъ общее заглавие *'Attraverso gli albi e le cartelle'* (Бер-

гамо, 1916), а въ Голландіи возникъ еще новый ежемѣсячный журналъ *'De Nederlandsche Musea'* (Уtrechtъ), ставящій себѣ задачей воспроизведеніе художественныхъ сокровищъ нидерландскихъ музеевъ.

P. Ettinger.

КНИГИ, ПОСТУПИВШІЯ ВЪ РЕДАКЦІЮ

- Рюрикъ Иванъ. — *Золото смерти*. Изд. Центрифуга. М. 1916. Ц. 50 к.
- И. Н. Игнатовъ. — *Театръ и зрители*. Часть I. Первая половина XIX ст. Изд. *Задруга*. М. 1916. Ц. 3 р.
- Николай Ливкинъ. — *Инокъ*. Стихи. Изд. *Млечный Путь*. 1916. М. Ц. 1 р.
- Леонидъ Лучининъ. — *Вырубленный садъ*. Стихотворенія. Изд. *Орифламма*. П. 1917. Ц. 80 к.
- Михаилъ Мукаловъ. — *Вмѣстѣ*. Драма. Киевъ. 1913.
- *Единственная*. Романъ. — *Nomo homini iuris*. Симфонія. Киевъ. 1916. Ц. 1 р.
- П. Н. Петровскій. — *Невольнича пѣсни*. 1885—1915. Изд. *Жатва*. М. 1916. Ц. 1 р. 25 к.
- Проза и поэзія. Изд. *Ars*. П. 1916. Ц. 75 к.
- Акад. А. И. Соболевскій. — *Русскія фрески въ Старой Польшѣ*. Изд. Московскаго О-ва по изслѣдованию памятниковъ древности. М. 1916. Ц. 75 к.
- Александръ Туфановъ. — *Эолова арфа*. Стихи и проза. П. 1917. Ц. 1 р. 35 к.
- Викторъ Ховинъ. — *Не угодно ли съ?* Силуэтъ В. В. Розанова. Изд. *Очарованный Странникъ*. П. 1916. Ц. 60 к.
- Alexander Bakshy. — *The path of the modern Russian stage and other essays*. London. 1916.
- В. Н. Нелединскій. — *Томленіе духа*. Вольные сонеты. П. 1916. Ц. 2 р.
- И. А. Аксёновъ. — *Елизаветинцы*. Изд. Центрифуга. М. 1916. Ц. 4 р.
- Временникъ*. Изд. Сѣвернаго кружка любителей изящныхъ искусствъ. И. Вологда. 1916.
- «Осенняя антологія». Состав. Е. Николаева. П. 1916.

- Н. Шульговскій.—‘Терновый вѣнецъ’. Вѣнокъ сонетовъ. П. 1916. Ц. 30 к.
- К. Журавскій, Н. Камова, Л. Повицкій, В. Пруссакъ, В. Статьева.—Иркутские вечера. Стихи. Альманахъ I-й. Иркутскъ. 1916. Ц. 1 р.
- Вячеславъ Ивановъ.—Борозды и Межи. Изд. ‘Мусагетъ’. М. 1916. Ц. 2 р. 75 к.
- М. Н. Коваленскій.—Путешествіе Екатерины II въ Крымъ. Изд. К. Ф. Некрасова. М. 1916. Ц. 50 к.
- К. Кульватенко.—Аベル и Каинъ. Трагедія. М. 1916. Ц. 75 к.
- Константина Лянда у.—У темной двери. Стихи. Изд. В. В. Пашуканица. М. 1916. Ц. 50 к.
- Михаилъ Мукаловъ.—Ничто. Киевъ. 1916. Ц. 1 р. 25 к.
- Я люблю мудрость. Киевъ. 1916. Ц. 1 р.
- Иванъ Новиковъ.—Изъ жизни духа. Романъ. Изд. 2-е. К. Ф. Некрасова. М. 1916. Ц. 1 р. 80 к.
- Леонидъ Сабаниевъ.—Скрябинъ. Изд. ‘Скорпионъ’. М. 1916. Ц. 3 р.
- Сборники по теоріи поэтическаго языка. Вып. I. П. 1916. Ц. 1 р.
- Сельское покрывало. Стихи. Одесса. 1916. Ц. 1 р. 25 к.
- А. М. Скворцовъ.—Д. Г. Левицкій. Изд. К. Ф. Некрасова. М. 1916. Ц. 75 к.
- И. В. Тхоржевскій.—Дань солнцу. 2-й сборникъ стиховъ. П. 1916. Ц. 1 р.
- П. П. Филипповичъ.—Объ авторѣ стихотворенія ‘Какая это сторона?’ Киевъ. 1916.
- Д. С. Шилкинъ.—Искусство и мистика (аргузъмъ А. Н. Скрябина). П. 1916. Ц. 40 к.
- П. Е. Щеголевъ.—Дуръ и смерть Пушкина. П. 1916. Ц. 4 р. 50 к.
- Николай Асѣевъ.—Оксана. Изд. ‘Центрифуга’. М. 1916. Ц. 1 р. 50 к.
- Сергѣй Боброзвъ.—Н. М. Языковъ о міровой литературѣ. Изд. ‘Центрифуга’ М. 1916. Ц. 50 к.
- Поль Верлайнъ.—Избранныя стихотворенія въ переводахъ русскихъ поэтовъ. Изд. 2-е. ‘Универсальная Библиотека’, № 748. Изд. ‘Польза’. М. 1915. Ц. 12 к.
- Василій Каменскій.—Дѣвушки босинкомъ. Стихи. Тифлісь. 1916. Ц. 1 р. 50 к.
- Андрей Сиротининъ.—Съ родныхъ полей. Не свои стихи. П. 1916. Ц. 1 руб. 85 коп.
- В. В. Хлѣбниковъ.—Ошибка смерти. Изд. ‘Лирены’. М. 1917. Ц. 60 к.
- Н. Чужакъ.—Къ эстетикѣ марксизма. Иркутскъ. 1916. Ц. 10 к.—Эстетизмъ и эстетика. Иркутскъ. 1916. Ц. 5 к.
- Георгій Шенгели.—Гонгъ. Порзія. У. Изд. ‘L'oiseau bleu’. П. 1916. Ц. 1 р. 10 к.

Поправка. Подпись подъ репродукціей, помѣщенной въ № 8 ‘Аполлона’ противъ страницы 3-й, слѣдуетъ читать: В. В. Рождественскій, ‘Nature morte’ (масло).
(‘Выставка современной русской живописи’ — 1916).

Издатели: С. К. Маковскій.
М. К. Ушковъ.

Редакторъ: Сергѣй Маковскій.

СОДЕРЖАНИЕ

Всеволодъ Дмитріевъ — П. А. Федотовъ	1
Александръ Гидони — Омраченный Петроградъ	37
Н. Долговъ — И. С. Щепкинъ	51
Георгій Ивановъ, О. Мандельштамъ, А. Радлова, М. Лозинскій — Стихи	74

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АВТОПИСЬ

В. с. Дмитріевъ — „Міръ Искусства“. Выставка этюдовъ, эскизовъ и рисунковъ	79
Н. Р. — Конкурсная выставка въ Академіи Художествъ	81
А. Р-въ — Выставки и художественные дѣла	83
Я. Тенинъ — Московскія выставки	87
В. С. — Петроградскіе театры	89
Н. Долговъ — „Романтики“ въ Александринскомъ театрѣ	93
Ф. К. — Искусство оркестровой декламации	94
Евгеній Браудо — Музыка въ Петроградѣ	95
Вс. Дм., Александръ Гидони, Вехесъ, А. Анисимовъ — Новые книги	101
Р. Ettinger — Художественные вѣсти съ Запада	107
Книги, поступившія въ редакцію	109

РЕПРОДУКЦИИ НА ОТДѢЛЬНЫХЪ ЛИСТАХЪ

Четырехцвѣтная автотипія:

П. А. Федотовъ — „Вдовушка“.

Фототипія:

П. А. Федотовъ — „Завтракъ аристократа“.

Автотипія:

П. А. Федотовъ — Портретъ П. Е. Львова; Подкрашенные рисунки; Неоконченный эскизъ къ картинѣ „Все холера виновата“; Портретъ Н. П. Ждановичъ; Портретъ А. П. Ждановичъ; Рисунки; „Офицеръ съ ленъчикомъ“; Изъ цикла „Фиделька“; „Художникъ, женившийся безъ приданаго“; „У постели“; Г. Доу — „Нимфа“; И. Шедровскій — Подготовительный рисунокъ къ одной изъ литографій альбома „Вотъ наши!“; Францъ Міерисъ — „Утро“; Ланкре — „Мясная лавка“; П. А. Федотовъ — Рисунокъ („Ахъ, братцы“); Рисунокъ („Ахъ, я несчастная“); „Разборчивая невѣста“; У. Гогартъ — „Бой пѣтуховъ“; Доу. Фрагонаръ — „Подѣлуй“; П. М. Шмелевъ — Рисунокъ; Гаварни — „Портретъ кредитора“; П. А. Федотовъ — Портретъ Е. Г. Флуга.

РЕПРОДУКЦИИ ВЪ ТЕКСТѢ

Автотипія:

П. А. Федотовъ — Рисунокъ (стр. 14); „Сожигательница сердецъ“ (стр. 17). Гаварни — Рисунокъ (стр. 27). К. Брюлловъ — Рисунокъ (стр. 29). П. Шмелевъ — „Плакальщицы“ (стр. 33).